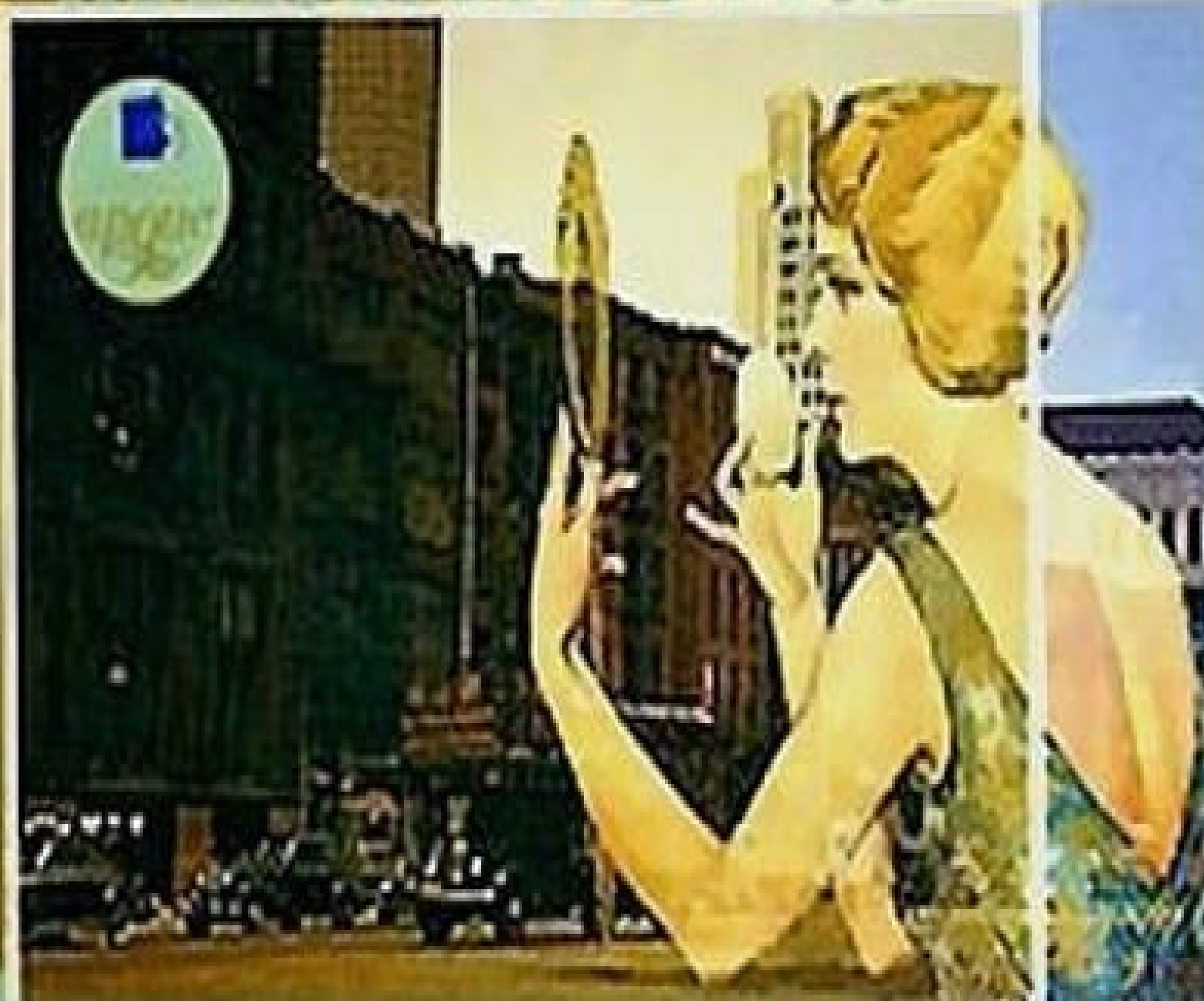


# Олимпиада

## Четыре миллиона



## Annotation

В сборник вошли рассказы: • Линии судьбы • Дары волхвов • Космополит в кафе • В антракте • Комната на чердаке • Из любви к искусству • Дебют Мэгги • Прожигатель жизни • Фараон и хорал • Гармония в природе • Воспоминания жёлтого пса • Приворотное зелье Айки Шонштейна • Золото и любовь • Весна порционно • Зелёная дверь • С высоты козел • Неоконченный рассказ • Калиф, Купидон и часы • Сёстры золотого кольца • Роман биржевого маклера • Через двадцать лет • Мишурный блеск • Курьер • Меблированная комната • Недолгий триумф Тильди

---

- [О. Генри](#)
  - [Линии судьбы](#)
  - [Дары волхвов](#)
  - [Космополит в кафе](#)
  - [В антракте](#)
  - [Комната на чердаке](#)
  - [Из любви к искусству](#)
  - [Дебют Мэгги](#)
  - [Прожигатель жизни](#)
  - [Фараон и хорал](#)
  - [Гармония в природе](#)
  - [Воспоминания жёлтого пса](#)
  - [Приворотное зелье Айки Шонштейна](#)
  - [Золото и любовь](#)
  - [Весна порционно](#)
  - [Зелёная дверь](#)
  - [С высоты козел](#)
  - [Неоконченный рассказ](#)
  - [Калиф, Купидон и часы](#)
  - [Сёстры золотого кольца](#)
  - [Роман биржевого маклера](#)
  - [Через двадцать лет](#)
  - [Мишурный блеск](#)
  - [Курьер](#)
  - [Меблированная комната](#)

- [Недолгий триумф Тильди](#)
  - [Примечания к сборнику](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)
    - [23](#)
    - [24](#)
    - [25](#)
    - [26](#)
    - [27](#)
    - [28](#)
    - [29](#)
    - [30](#)
    - [31](#)
    - [32](#)
    - [33](#)
    - [34](#)
    - [35](#)
-

**О. Генри**  
**ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА**  
**(Сборник)**

## Линии судьбы

*Перевод Н. Дехтеревой.*

Мы с Тобином как-то надумали прокатиться на Кони-Айленд. Промеж нас завелось четыре доллара, ну а Тобину требовалось развлечься. Кэти Махорнер, его милая из Слайго<sup>[1]</sup>, как сквозь землю провалилась с того самого дня три месяца тому назад, когда укатила в Америку с двумя сотнями долларов собственных сбережений и еще с сотней, вырученной за продажу наследственных владений Тобина — отличного домишки в Бох Шоннаух и поросенка. И после того письма, в котором она написала Тобину, что едет к нему, от Кэти Махорнер не было ни слуху ни духу. Тобин и объявления в газеты давал, да без толку, не сыскали девчонку.

Ну и вот мы, я да Тобин, двинули на Кони — может, подумали мы, горки, колесо да еще запах жареных зерен кукурузы малость встряхнут его. Но Тобин парень таковский, расшевелить его нелегко — тоска въелась в его шкуру крепко. Он заскрежетал зубами, как только услышал писк воздушных шариков. Картину в иллюзионе ругательски изругал. И хоть пропустить стаканчик он ни разу не отказался, только предложи, — на Панча и Джуди он и не взглянул. А когда пошли эти, что норовят заснять вашу физию на брошке или медальоне, он полез было съездить им как следует.

Ну, я, значит, отвожу его подальше, веду по дощатой дорожке туда, где аттракционы малость потише. Около палатки чуть побольше пятицентовика Тобин делает стойку, и глаза у него смотрят вроде бы почти по-человечески.

— Здесь, — говорит он, — здесь я буду развлекаться. Пусть гадалка-чародейка из страны Нила исследует мою ладонь, пусть скажет мне, сбудется ли то, чему должно сбыться.

Тобин — парень из тех, кто верит в приметы и неземные явления в земной жизни. Он был напичкан всякими предосудительными убеждениями и суевериями — принимал на веру и черных кошек, и счастливые числа, и газетные предсказания погоды.

Ну, входим мы в этот волшебный курятник — все там устроено как полагается, по-таинственному — и красные занавески, и картинки, — руки, на которых линии пересекаются, словно рельсы на узловой станции. Вывеска над входом показывает, что здесь орудует мадам Зозо, египетская

хиромантка. Внутри палатки сидела толстуха в красном джемпере, расшитом какими-то закорючками и зверюшками. Тобин выдает ей десять центов и сует свою руку, которая приходится прямой родней копыту ломовой коняги.

Чародейка берет руку Тобины и смотрит, в чем дело: подкова, что ли, отлетела или камень в стрелке зашелся.

— Слушай, — говорит эта мадам Зозо, — твоя нога...

— Это не нога, — прерывает ее Тобин. — Может, она и не бог весть какой красоты, но это не нога, это моя рука.

— Твоя нога, — продолжает мадам, — не всегда ступала по гладким дорожкам — так показывают линии судьбы на твоей ладони. И впереди тебя ждет еще много неудач. Холм Венеры — или это просто старая мозоль? — указывает, что твое сердце знало любовь. У тебя были большие неприятности из-за твоей милой.

— Это она намекает насчет Кэти Махорнер, — громко шепчет Тобин в мою сторону.

— Я вижу дальше, — говорит гадалка, — что у тебя много забот и неприятностей от той, которую ты не можешь забыть. Линии судьбы говорят, что в ее имени есть буква «К» и буква «М».

— Ого! — говорит мне Тобин. — Слышал?

— Берегись, — продолжает гадалка, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности. Тебя скоро ожидает путешествие по воде и финансовые потери. И еще вижу линию, которая сулит тебе удачу. В твою жизнь войдет один человек, он принесет тебе счастье. Ты узнаешь его по носу — у него нос крючком.

— А его имя на ладони не написано? — спрашивает Тобин. — Неплохо бы знать, как величать этого крючконогого, когда он явится выдавать мне мое счастье.

— Его имя, — говорит гадалка этак задумчиво, — не написано на линиях судьбы, но видно, что оно длинное и в нем есть буква «О». Все, больше сказать нечего. До свиданья. Не загромождайте вход.

— Ну и ну; — говорит Тобин, когда мы шагаем к причалу. — Просто чудеса, как она все это точно знает.

Когда мы протискивались к выходу, какой-то негритос задел Тобины по уху своей сигарой. Вышла неприятность. Тобин начал молотить парня по шее, женщины подняли визг, — ну, я не растерялся, успел оттащить своего дружка подальше, пока полиция не подросла. Тобин всегда в препаршивом настроении, когда развлекается.

А когда уже обратно ехали, буфетчик на пароходике стал зазывать:

«Кому услужить? Кто пива желает?» — и Тобин признался, что да, он желает — желает сдуть пену с кружки их поганого пойла. И полез в карман, но обнаружил, что в толкотне кто-то выгреб у него все оставшиеся монеты. Буфетчик, за недостатком вещественных доказательств, отцепился от Тобина, и мы остались ни с чем, — сидели и слушали, как итальяшки на палубе пиликают на скрипке. Получилось, что Тобин возвращался с Кони еще мрачнее, и горести засели в нем еще крепче, чем до прогулки.

На скамейке у поручней сидела молодая женщина, разодетая так, чтобы кататься в красных автомобилях. И волосы у нее были цвета необкуренной пенковой трубки. Тобин, когда проходил мимо, ненароком зацепил ее малость по ноге, а после выпивки он с дамами всегда вежливый. Он и решил этак с форсом снять шляпу, когда извинялся, да сбил ее с головы, и ветер унес ее за борт.

Тобин вернулся, опять сел на свое место, и я начал присматривать за ним — у парня что-то зачастили неприятности. Когда неудачи вот так наваливались на Тобина, без передыху, он был способен стукнуть первого попавшегося франта или взять на себя командование судном.

И вдруг Тобин хватает меня за руку, сам не свой.

— Слушай, Джон, — говорит он. — Ты знаешь, что мы с тобой делаем? Мы путешествуем по воде!

— Тихо, тихо, — говорю я ему. — Возьми себя в руки. Через десять минут причалим.

— Ты взгляни на ту дамочку, на блондинку, — говорит он. — На ту, что на скамейке, — видишь? А про негритоса ты забыл? А финансовые потери — монеты, которые у меня сперли, один доллар и шестьдесят пять центов? А?

Я подумал, что он просто-напросто подсчитывает свалившиеся на него беды — так иной раз делают, чтобы оправдать свое буйное поведение, и я попытался втолковать ему, что все это, мол, пустяки.

— Послушай, — говорит Тобин, — ты ж ни черта не смыслишь, что такое чудеса и пророчества, на которые способны избранные. Ну вспомни, что сегодня гадалка высмотрела у меня на руке? Да она всю правду сказала, все получается по ее, прямо у нас на глазах. «Берегись, — сказала она, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности». Ты что, забыл про негритоса — хоть я, правда, тоже врезал ему как надо, — а можешь ты найти мне женщину поблондинистей, чем та, из-за которой моя шляпа свалилась в воду? И где один доллар и шестьдесят пять центов, которые были у меня в жилетном кармане, когда мы выбирались из тира?

Так, как Тобин мне все это выложил, вроде бы точь-в-точь сходилась с

предсказаниями чародейки, хотя сдается мне, такие мелкие досадные случаи с кем хочешь могут приключиться на Кони, тут и предсказания не требуются.

Тобин встал, обошел всю палубу — идет и во всех пассажиров подряд так и впивается своими красными гляделками. Я спрашиваю, что все это значит. Никогда не знаешь, что у Тобина на уме, пока он не примется выкидывать свои штуки.

— Должен был бы сам смекнуть, — говорит он мне. — Я ищу свое счастье, которое обещали мне линии судьбы на моей ладони. Ищу типа с крючковатым носом, того, который вручит мне мою удачу. Без него нам крышка. Скажи, Джон, видел ты когда-нибудь такое сборище прямоносых горлодеров?

В половине десятого пароход причалил, мы высадились и потопали домой через Двадцать вторую улицу, минуя Бродвей, — Тобин ведь шел без шляпы.

На углу, видим, стоит под газовым фонарем какой-то тип, — стоит и пялит глаза на луну поверх надземки. Долговязый такой, одет прилично, в зубах сигара, и я вдруг вижу, нос у него от переносицы до кончика успевает два раза изогнуться, как змея. Тобин тоже это заметил и сразу задышал часто, словно лошадь, когда с нее седло снимают. Он двинул напрямик к этому типу, и я пошел вместе с ним.

— Добрый вечер вам, — говорит Тобин крючконосому.

Тот вынимает сигару изо рта и так же вежливо отвечает Тобину.

— Скажите-ка, как ваше имя? — продолжает Тобин. — Очень оно длинное или нет? Может, долг велит нам познакомиться с вами.

— Меня зовут, — отвечает тип вежливо, — Фриденхаусман. Максимум Г. Фриденхаусман.

— Длина подходящая, — говорит Тобин. — А как оно у вас пишется, есть в нем где-нибудь посередине буква «О»?

— Нет, — отвечает ему тип.

— А все ж таки, нельзя ли его писать с буквой «О»? — опять спрашивает Тобин с тревогой в голосе.

— Если вам претит иноязычная орфография, — говорит носатый, — можете, пожалуй, вместо «а» сунуть «о» в третий слог моей фамилии.

— Тогда все в порядке, — говорит Тобин. — Перед вами Джон Мэлоун и Дэниел Тобин.

— Весьма польщен, — говорит долговязый и отвешивает поклон. — А теперь, поскольку я не в состоянии понять, с какой стати вы на углу улицы подняли вопрос об орфографии, не объясните ли мне, почему вы на



свободе?

— По двум приметам, — это Тобин старается ему втолковать, — которые обе у вас имеются, вы, как напороочила гадалка по подошве моей руки, должны выдать мне мое счастье и прикончить все те линии неприятностей, начиная с негра и блондинки, которая сидела на пароходе скрестив ноги, и потом еще финансовые потери — один доллар и шестьдесят пять центов. И пока все сошлось, точно по расписанию.

Долговязый перестал курить и глянул на меня.

— Можете вы внести какие-либо поправки к этому заявлению? — спрашивает он. — Или вы из тех же? Судя по вашему виду, я подумал, что вы при нем сторожем.

— Да нет, все так и есть, — говорю я. — Все дело в том, что как одна подкова схожа с другой, так вы точная копия того поставщика удачи, про которого моему другу нагадали по руке. Если же вы не тот, тогда, может, линии на руке у Дэнни как-нибудь нескладно пересеклись, не знаю.

— Значит, вас двое, — говорит крючконосый, поглядывая, нет ли поблизости полисмена. — Было очень-очень приятно с вами познакомиться. Всего хорошего.

И тут он опять сует сигару в рот и движется быстрым аллюром через улицу. Но мы с Тобином не отстаем, — Тобин жметя к нему с одного бока, а я — с другого.

— Как! — говорит долговязый, остановясь на противоположном тротуаре и сдвинув шляпу на затылок. — Вы идете за мной следом? Я же сказал вам, — говорит он очень громко, — я в восторге от знакомства с вами, но теперь не прочь распрощаться. Я спешу к себе домой.

— Спешите, — говорит Тобин, прижимаясь к его рукаву, — спешите к себе домой. А я сяду у вашего порога, подожду, пока вы утром выйдете из дому. Потому как от вас это зависит, вам полагается снять все проклятия — и негритоса, и блондинку, и финансовые потери — один доллар шестьдесят пять центов.

— Странный бред, — обращается ко мне крючконосый, как к более разумному психу. — Не отвести ли вам его куда полагается?

— Послушайте, — говорю я ему. — Дэниел Тобин в полном здравом рассудке. Может, малость растревожился — выпил-то он достаточно, чтоб растревожиться, но недостаточно, чтоб успокоиться. Но ничего худого он не делает, всего-навсего действует согласно своим суевериям и предсказаниям, про которые я вам сейчас разъясню.

И тут я излагаю ему факты насчет гадалки и что перст подозрения указывает на него, как на посланца судьбы, чтобы вручить Тобину удачу.

— Теперь понятно вам, — заключаю я, — какая моя доля во всей этой истории? Я друг моего друга Тобина, как я это разумею. Оно нетрудно быть другом счастливчика, оно выгодно. И другом бедняка быть нетрудно — вас тогда до небес превознесут, еще пропечатают портрет, как вы стоите подле его дома — одной рукой держите за руку сиротку, а в другой у вас совок с углем. Но многое приходится вытерпеть тому, кто дружит с круглым дураком. И вот это-то мне и досталось, — говорю я, — потому как, по моим понятиям, иной судьбы на ладонке не прочтешь, кроме той, какую отпечатала тебе рукоятка кирки. И хоть, может, нос у вас такой крючковатый, какого не сыщешь во всем Нью-Йорке, я что-то не думаю, чтоб всем гадалкам и предсказателям вместе удалось выдоить из вас хоть каплю удачи. Но линии на руке у Дэнни и вправду на вас указывают, и я буду помогать ему вытягивать из вас удачу, пока он не уверится, что ничего из вас не выжмешь.

Тут долговязый начал вдруг смеяться. Привалился к углу дома и знай хохочет. Потом хлопает нас по спине, меня и Тобина, и берет нас обоих под руки.

— Мой, мой промах, — говорит он. — Но смел ли я рассчитывать, что на меня вдруг свалится такое замечательное и чудесное? Я чуть не прозевал, чуть не дал маху. Вот тут рядом есть кафе, — говорит он, — уютно и как раз подходит для того, чтобы поразвлечься чудачествами. Пойдемте туда, разопьем по стаканчику, пока будем обсуждать отсутствие в наличии безусловного.

Так за разговорами он привел нас, меня и Тобина, в заднюю комнату салуна, заказал выпивку и выложил деньги на стол. Он смотрит на меня и на Тобина как на своих родных братьев и угощает нас сигарами.

— Надо вам сказать, — говорит этот посланец судьбы, — что моя профессия называется литературой. Я брожу по ночам, отслеживаю чудачества в людях и истину в небесах. Когда вы подошли ко мне, я наблюдал связь надземной дороги с главным ночным светилом. Быстрое передвижение надземки — это поэзия и искусство. А луна — скучное, безжизненное тело, крутится бессмысленно. Но это мое личное мнение, потому что в литературе все не так, все шиворот-навыворот. Я надеюсь написать книгу, в которой хочу раскрыть то странное, что я подметил в жизни.

— Вы вставите меня в книгу, — говорит Тобин с отвращением. — Вставьте вы меня в свою книгу?

— Нет, — говорит литературный тип, — обложка не выдержит. Пока еще нет, рано. Пока могу только сам насладиться, ибо еще не подоспело

время отменить ограничения печати. Вы будете выглядеть неправдоподобно, фантастично. Я один, наедине с самим собой, должен выпить эту чашу наслаждения. Спасибо вам, ребята, от души вам благодарен.

— От разговора вашего, — говорит Тобин, шумно дыша сквозь усы, и стучает кулаком по столу, — от разговора вашего, того и гляди, терпение мое лопнет. Мне была обещана удача через ваш крючковатый нос, но от него пользы, я вижу, как от козла молока. Вы с вашей трепотней о книгах словно ветер, который в щель дует. Я бы подумал, что ладонь моей руки наврала, если бы все остальное не вышло по гадалке — и негритос, и блондинка, и...

— Ну-ну — говорит этот крюконосый верзила. — Неужели физиогномика способна ввести вас в заблуждение? Мой нос сделает все, что только в его возможностях. Давайте еще раз наполним стаканы, чудачества хорошо держать во влажном состоянии, в сухой моральной атмосфере они могут подвергнуться порче.

На мой взгляд, тип этот поступает по-хорошему — за все платит и весело это делает, с охотой — ведь наши-то капиталы, мои и Тобина, улетучились по пророчеству. Но Тобин, разобиженный, пьет молчком, и глаза у него наливаются кровью.

Вскороости мы вышли, было уже одиннадцать часов, постояли малость на тротуаре. А потом крюконосый говорит, что ему пора домой. И приглашает меня и Тобина к себе. Через пару кварталов мы доходим до боковой улицы, на которой стоят кирпичные дома — у каждого высокое крыльцо и железная решетка. Долговязый подходит к одному такому дому, глядит на окна верхнего этажа, видит, что они темные.

— Вот мое скромное обиталище, — говорит он. — И по некоторым приметам я заключаю, что жена моя уже легла спать. Так что я осмелюсь оказать вам гостеприимство. Мне хочется, чтобы вы зашли вниз на кухню и немного подкрепились. Найдется и отличная холодная курица, и сыр, и пара бутылок пива. Я в долгу перед вами за доставленное удовольствие.

И аппетиты у нас с Тобином, и настроение подходили к такому плану, хотя для Дэнни это был удар: тяжело было ему думать, что несколько стаканов выпивки и холодный ужин означают удачу и счастье, обещанные ладонью его руки.

— Спускайтесь к черному ходу, — говорит крюконосый, — а я войду здесь и впущу вас. Я попрошу нашу новую прислугу сварить вам кофе — для девушки, которая всего три месяца как прибыла в Нью-Йорк, Кэти Махорнер отлично готовит кофе. Заходите, — говорит он, — я сейчас

пришлю ее к вам.

## Дары волхвов

*Перевод Е. Калашниковой.*

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингхем Юнг» «Диллингхем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар

восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой мебелированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс. Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос», Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке

густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердись, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.



— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого... Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожденный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым

немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

## Космополит в кафе

*Перевод Л. Каневского.*

К полуночи кафе было битком набито посетителями. По счастливой случайности мой маленький столик не привлекал внимания входивших, и два свободных стула с продажным гостеприимством протягивали свои руки-подлокотники навстречу вливавшемуся в кафе потоку, где могли найтись их будущие хозяева.

Но вот на один стул сел какой-то космополит, и я ужасно сему обрадовался, потому что никогда не разделял теории о том, что со времен Адама на земле не было настоящего гражданина мира. Мы только слышим о них, видим иностранные наклейки на их чемоданах, но все равно они никакие не космополиты, а простые путешественники.

Прошу вас обратить внимание на обстановку — столики с мраморными крышками, ряд обтянутых кожей сидений вдоль стены, дамы в красивых полусветских туалетах, почти зримо ощущаемый хор изысканных фраз, о тонком вкусе, об экономике, о богатстве или искусстве, усердные, любящие щедрые чаевые гарсоны, удовлетворяющая любой вкус музыка из наскоков на сочинения различных музыкантов, разговоры, прерываемые смехом, и в придачу «вюргбургер» в высоком коническом стакане, который так и льнет к вашим губам, а выдержанное «черри» течет по наклону к похожему на клюв носу болтливого грабителя. Один скульптор из Мауч Чанка сказал мне, что это — типично парижская атмосфера.

Моего космополита звали Э. Рашмор Коглан, и о нем услышат уже со следующей недели на Кони-Айленде. Там он собирается открыть новый «аттракцион», который, как он пообещал мне, всем доставит развлечение, достойное короля. Теперь его разговор касался земных долгот и широт. Он воображал, что держит в руках весь этот громадный земной шар, и обращался с ним, можно сказать, весьма фамильярно, даже презрительно, хотя он был нисколько не больше косточки, выуженной им из «черри Мараскина», или грейпфрута на табльдоте для пансионеров. Он без всякого уважения отзывался об экваторе, перелетал с одного континента на другой, зло высмеивал некоторые места и промокал океан своей салфеткой. Небрежно помахивая рукой, он рассказывал о каком-то базаре в Хайдарабаде.

Ах, как здорово! Вот вы вместе с ним скользите на лыжах в Лапландии. Вжик! Вот вы взмываете на высоких волнах с канаками в Килайкаики. Гопля! Вот он тащит вас за собой на дубовом шесте по болоту в Арканзасе, позволяет вам немного обсохнуть на солончаковой равнине своего ранчо в Айдахо и швыряет вас в изысканное общество венских эрцгерцогов.

Он расскажет вам о том, какой сильный насморк он подхватил на ветру холодного озера в Чикаго, и как его вылечила в Буэнос-Айресе старуха Эскамила горячей припаркой из водоросли чучула. Если захотите ему написать, то пишите на конверте такой адрес: «Э. Рашмор Коглану, эскайру, Земля, Солнечная система, Вселенная», отправляйте смело его по почте и можете быть спокойным, — оно непременно дойдет до адресата.

Я был уверен, что, наконец, мне удалось найти настоящего космополита со времен Адама, и слушал его обнимающий весь мир спич, опасаясь услышать в нем банальную нотку человека, просто путешествующего по свету. Ничего подобного! Несгибаемую твердость его мнений не могло поколебать даже его желание чему-то польстить или потрафить — нет, он был абсолютно беспристрастным ко всем городам, странам и континентам, таким же беспристрастным, как ветер или земное тяготение.

И когда Э. Рашмор Коглан продолжал увлеченно болтать об этой маленькой планете, я с восхищением думал — о великом почти — космополите, который писал для всего мира и который посвятил себя Бомбею. В своей поэме он утверждает, что между городами на земле царят гордыня и соперничество и что «те люди, что вкусили в них молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». И когда они «бродят по незнакомым улицам», то вспоминают свой родной город, «хранят ему верность, свою глупую любовь» и лишь «произнесенное его название становится для них еще одним долговым обязательством, присовокупляемым к другим». И восторг мой достиг предела, когда я заметил, что мистер Киплинг отдыхает. Вот передо мной человек, созданный не из праха, который не хвастает своим местом рождения или своей страной словно зашоренный, человек, которому если и придет охота похвастать, будет это делать в отношении всего земного шара, чтобы позлить марсиан или обитателей Луны.

Выражения такого рода вылетали изо рта Э. Рашмор Коглана и долетали до самого дальнего угла. Когда Коглан описывал мне топографию местности вдоль Великой Сибирской магистрали, оркестр заиграл попури.

Завершающей частью был диксиленд «Южные штаты»; когда веселая, будоражащая мелодия разносилась по кафе, громкие аплодисменты почти всех сидевших за столами ее заглушали.

Стоит мимоходом заметить, что такие замечательные сцены можно наблюдать каждый вечер в многочисленных кафе Нью-Йорка. Тонны пива и других напитков выпивались под обсуждение теорий, могущих объяснить этот феномен. Некоторые высказали несколько преждевременную догадку, что южане, живущие в городе, спешат в кафе с наступлением вечера. Одобрение аплодисментами мятежной «южной атмосферы в этом северном городе» несколько озадачивает. Но в этом нет ничего таинственного. Война с Испанией, большие урожаи несколько лет подряд мяты и арбузов, несколько блестящих побед, одержанных в Новом Орлеане на скачках, роскошные банкеты, устраиваемые жителями Индианы и Канзаса, входящими в Общество друзей Северной Каролины, действительно превратили юг в помешательство на Манхэттене. Ваш маникюр подскажет ей, что ваш указательный палец на левой руке так напоминает ей одного джентльмена из Ричмонда, штат Виргиния.

Когда оркестр играл «Южные штаты», вдруг из ниоткуда выпрыгнул молодой черноволосый человек и с диким воплем племени мосби лихорадочно замахал своей мягкой шляпой с полями. Потом, продравшись сквозь пелену дыма, он плюхнулся на свободный стул за нашим столиком и достал пачку сигарет.

Вечер подходил к той стадии, когда сдержанность все заметнее тает. Один из нас заказал официанту три «вюрцбургера»; черноволосый выразил признательность за свою долю в заказе улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, так как очень хотел подтвердить правильность своей теории.

— Не скажете ли нам, откуда вы, — начал я.

Тяжелый кулак Э. Рашмор Коглана с грохотом опустился на стол, и я заткнулся.

— Прошу меня простить, — сказал он, — но я не люблю, когда задают подобные вопросы. Какая разница, откуда человек? Разве можно судить о человеке по адресу, написанному на конверте его письма? Я, например, видел кентуккцев, которые терпеть не могли виски, виргинцев, которые никогда не спускались с Покохонтас, индианцев, которые не написали ни одного романа, мексиканцев, которые не носили вельветовых штанов с зашитыми в их швах серебряными долларами, забавных англичан, скупердяев янки, хладнокровных южан, узколобых западников и нью-йоркцев, которые куда-то очень спешили и не могли позволить себе

простоять битый час на улице, чтобы понаблюдать, как однорукий клерк в бакалейной лавке раскладывает клюкву по бумажным пакетам. Пусть человек будет человеком, вот и все, и нечего ставить его в неловкое положение, приклеивать ему какой-то ярлык.

— Прошу меня простить, — сказал я, — но мое любопытство не столь уж пустое. Я знаю Юг, и когда джаз-банд наяривает «Южные штаты», я люблю наблюдать за тем, что происходит вокруг. У меня сложилось твердое впечатление, что если человек изо всех сил бьет в ладоши, приветствуя эту мелодию, и таким образом демонстрирует свою пристрастность, то он либо уроженец Сикокуса, штат Нью-Джерси, или района между Мюррей-хилл-Лайсиэм и Гарлем-ривер в этом городе. Я хотел только подтвердить правильность своего наблюдения, спросив этого джентльмена, когда вы перебили меня своей собственной теорией, гораздо, правда, более обширной, чем моя, должен это признать.

Теперь черноволосый говорил со мной, и мне стало ясно, что мысль его течет по весьма замысловатым извилинам.

— Мне хотелось бы быть барвинком, — с каким-то таинственным видом сказал он, — расти на вершине долины и распевать «ту-ралу-ралу...».

Это было весьма туманно, и я вновь обратился к Коглану.

— Я двенадцать раз объехал весь земной шар, — сказал он. — Я знаю одного эскимоса в Апернавиа, который посылает заказы на галстуки в Цинцинатти, я видел скотовода в Уругвае, который выиграл приз в соревновании по угадыванию еды, употребляемой греческим воином за завтраком. Я вношу плату за снимаемые мною комнаты, одну — в Каире, Египет, и другую в Йокогаме, плачу круглый год, а мои шлепанцы дожидаются меня в чайном домике в Шанхае, и мне нет необходимости объяснять в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле, как для меня нужно готовить яйца. Наш такой маленький, такой старый мир. Для чего же хвастать тем, что ты с Севера, или с Юга, из старого особняка в долине, или живешь на Эвклид-авеню, в Кливленде, или на пике горной гряды, или в графстве Фэкс, штат Виргиния, или в Хулигэн-флэтс, в общем, где угодно? Когда же наконец мы бросим эти глупости и не будем сходить с ума из-за какого-то скромного городка или десяти акров заболоченной местности только потому, что нам посчастливилось там родиться?

— Судя по всему, вы обычный космополит, — восхищенно произнес я, — но кажется, вы открыто осуждаете патриотизм.

— Реликвия каменного века, — беззлобно заявил Коглан. — Все мы братья, — китайцы, англичане, зулусы, патагонцы, те люди, которые живут

в изгибе реки Кау. В один прекрасный день вся эта гордыня из-за своих городов, штатов, районов, секций или стран будет искоренена, и все мы станем гражданами мира, как это и должно быть.

— Но когда вы скитаетесь по чужим землям, — продолжал я гнуть свое, — не возвращаетесь ли вы в мыслях к какому-нибудь месту, такому дорогому и...

— Какое там место! — резко перебил меня Э. Р. Коглан. — Земная шаровидная планетарная масса, слегка сплюснутая на полюсах, известная под названием Земля, — вот мое пристанище. За границей я встречал много граждан этой страны, сильно привязанных к родным местам. Я слышал, как чикагцы, катаясь в гондоле по ночной Венеции, облитой лунным светом, хвастались своим дренажным каналом. Я видел одного южанина, который, когда его представляли английскому королю, не моргнув глазом сообщил ему такую ценную информацию — мол, его прабабушка по материнской линии являлась по браку родственницей Перкисам из Чарлстона. Я знал одного ньюйоркца, которого афганские бандиты захватили в плен и требовали за него выкуп. Его родственники собрали деньги, и он вернулся в Кабул с агентом. Не расскажете ли об Афганистане? — спросили его дома. — Не знаю, что и рассказывать... и, вместо того, что с ним произошло, он стал рассказывать о каком-то таксисте с Шестой авеню и Бродвея. Нет, такие идеи меня не интересуют. Я не привязан ни к чему, что меньше восьми тысяч миль в диаметре. Называйте меня просто Э. Рашмор Коглан, — гражданин земного шара.

Мой космополит церемонно попрощался со мной, так как ему показалось, что он увидел в этом галдеже через плотную завесу сигаретного дыма своего знакомого. Таким образом, я остался наедине с возможным барвинком, которого стаканчик «вюцбергера» лишил охоты распространяться дальше о своем стремлении уютно торчать на какой-то вершине в долине. Я сидел, размышляя о моем таком убедительном, ярком космополите, и честно удивлялся, как же его просмотрел какой-нибудь поэт.

Он был моим открытием, и я в него верил. Как это? «Те люди, которые вкусили в своих городах молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». Нет, Э. Р. Коглан не таков. В его распоряжении — весь мир...

Вдруг мои размышления были прерваны каким-то грохотом и скандалом, возникшем в другом углу кафе. Через головы сидевших за столиками я видел, как Э. Рашмор Коглан затеял с незнакомцем ужасную драку. Они дрались, между столами, как титаны, а стаканы падали на пол и

громко разбивались, они сшибали с ног мужчин, а те ловили слетавшие с голов шляпы; какая-то брюнетка дико визжала, блондинка стала напевать «Как все это соблазнительно».

Мой космополит отважно отстаивал свою гордыню и репутацию Земли. Официанты пошли знаменитым «клином» на дерущихся и стали их теснить, а те все еще отчаянно сопротивлялись.

Я подозвал Маккарти, одного из французских «гарсонов», и спросил его, какова причина возникшего конфликта.

— Человек с красным галстуком (это был мой космополит) сильно разозлился из-за того, что его собеседник дурно отзывался о бездельниках, шатающихся по тротуарам, и о плохом водоснабжении того города, в котором он родился.

— Не может быть, — удивился я. — Ведь он — завзятый космополит, гражданин мира. Он...

— Он родился в Маттавамкеги, штат Мэн, — продолжал Маккарти, — и не смог вынести оскорбительного для него отзыва о своем родном городе!



## В антракте

*Перевод Н. Дарузес.*

Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мэрфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закушники из западных и южных штатов. Расцветали цветы, и процветали курортные агенты; воздух и судебные приговоры становились мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картежники.

Окна пансиона миссис Мэрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Мак-Каски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Мак-Каски.

Мак-Каски явился в девять. На руке у него было пальто, а в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров.

Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен: вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова.

Мистер Мак-Каски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги.

— Слышала я тебя, — долетели до него суррогаты кухонной посуды. — Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почешешься, а я-то жду его не дождусь, все глаза проглядела, и ужин остыл, купила какой-никакой на последние деньги, ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлегера, а нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании.

— Женщина, — сказал мистер Мак-Каски, бросая пальто и шляпу на стул, — этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости, этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставять свое свиное рыло в окно, подавай на стол.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По

некоторым признакам Мак-Каски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный.

— Ах, вот как, свиное рыло? — возразила миссис Мак-Каски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы.

Мак-Каски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Мак-Каски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата, жидкости; этим заканчивалось меню, а, следовательно, и битва.

Но Мак-Каски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе. Пускай делает этот faux pas. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мэрфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Мак-Каски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Мак-Каски и заставил их заключить перемирие.

На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту разбиваемой вдребезги домашней утвари.

«Опять это Джон Мак-Каски со своей хозяйкой, — размышлял полисмен. — Пойти, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди они семейные, развлечений у них мало. Да небось скоро и кончат. Не занимать же для этого тарелки у соседей».

И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе.

— Кошка, должно, — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь.

Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мэрфи, Майк, пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мэрфи — двухсотфунтовая дама, в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут

же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами?

Майор Григ, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук.

— Мальчик пропал? — воскликнул он, — Я обыщу весь город.

Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном:

— Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце.

— Дай мне центов тридцать или, лучше, шестьдесят, милочка, — сказал майор. — Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай.

Старик Денни, жилец с четвертого этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мэрфи вопила, обращаясь к луне.

— О-о, где мой Майк, ради господ бога, где мой сыночек?

— Когда вы его видели последний раз? — спросил старик Денни, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей.

— Ох, — стонала миссис Мэрфи, — может, вчера, а может, четыре часа тому назад. Не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек, Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду? Столько дела, где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба, нет как нет, пропал да и только. О, ради господ бога...

Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди; они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно. И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших, больших клешней.

Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые.

Майор Григ юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли.

— Налейте-ка мне стопку, — сказал он официанту. — Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка лет шести, он где-то тут заблудился.

На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди.

— Подумать только об этом милом-милом крошке! — говорила мисс Пурди — Он заблудился, один, без своей мамочки, может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней, ах, какой ужас!

— Да, не правда ли? — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти поискать его?

— Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный, вдруг с вами что-нибудь случится, тогда как же.

Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.

На втором этаже мистер и миссис Мак-Каски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Мак-Каски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.

— Маленький Майк пропал, — сказала миссис Мак-Каски, понизив голос, — такой шалун, настоящий ангелочек!

— Мальчишка куда-то девался? — сказал Мак-Каски, высовываясь а окно. — Экое несчастье, прямо беда. Дети другое дело. Вот если б баба пропала, я бы слова не сказал, без них куда спокойней.

Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Мак-Каски схватила мужа за плечо.

— Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мэрфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться? Шесть годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, кабы он родился шесть лет тому назад.

— Да ведь он не родился, — возразил мистер Мак-Каски, строго придерживаясь фактов.

— А если б родился, какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай наш маленький Филан неизвестно где, может, заблудился, может, украли.

— Глупости несешь, — ответил Мак-Каски. — Назвали бы его Пат, в честь моего старика в Кэнтриме.

— Врешь! — без гнева сказала миссис Мак-Каски. — Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Мак-Каски. В честь него мы и назвали бы мальчика — Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз, на толкотню и суматоху.

— Джон, — сказала миссис Мак-Каски нежно, — прости, я погорячилась.

— Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно, а репа еще горячей, а кофе так прямо кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя.

Миссис Мак-Каски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь.

— Ты послушай, как убивается бедная миссис Мэрфи, — сказала она. — Ведь это просто ужас, такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если б это был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось.

Мистер Мак-Каски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи.

— Глупость, конечно, — сказал он грубовато, — но я бы и сам убивался, если б нашего... Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб, неласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.

Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу.

Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами, и неосновательными предположениями. Миссис Мэрфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая, рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали.

Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче.

— Что там такое, Джуди? — спросил мистер Мак-Каски.

— Это голос миссис Мэрфи, — сказала жена, прислушавшись — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате, он спал за свертком линолеума.

Мистер Мак-Каски расхохотался.

— Вот тебе твой Филан, — насмешливо воскликнул он. — Пат такой штуки ни за что не отколол бы. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним, пускай назывался бы Филан да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к буфету — уголки рта у нее были опущены.

Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Мак-Каски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон швыряемой в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы.

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул он. — Джон Мак-Каски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелей его фунтов на сорок. Дай бог ему удачи.

Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Денни сложил газету и скорей заковылял вверх по лестнице, как раз вовремя, потому что миссис Мэрфи уже запирала двери на ночь.

## Комната на чердаке

*Перевод В. Маянц.*

Сначала миссис Паркер показывает вам квартиру с кабинетом и приемной. Не смея прервать ее, вы долго слушаете описание преимуществ этой квартиры и достоинств джентльмена, который жил в ней целых восемь лет. Наконец, вы набираетесь мужества и, запинаясь, признаетесь миссис Паркер, что вы не доктор и не зубной врач. Ваше признание она воспринимает так, что в душе у вас остается горькая обида на своих родителей, которые не позаботились дать вам в руки профессию, соответствующую кабинету и приемной миссис Паркер.

Затем вы поднимаетесь на один пролет выше, чтобы во втором этаже взглянуть на квартиру за восемь долларов, окнами во двор. Тон, каким миссис Паркер беседует на втором этаже, убеждает вас, что комнатки по-настоящему стоят все двенадцать долларов, как и платил мистер Тузенберри, пока не уехал во Флориду управлять апельсиновой плантацией своего брата где-то около Палм Бич, где, между прочим, проводит каждую зиму миссис Мак-Интайр, та, что живет в комнатах окнами на улицу и с отдельной ванной, — и вы в конце концов набираетесь духу пробормотать, что хотелось бы что-нибудь еще подешевле.

Если вам удастся пережить презрение, которое выражает миссис Паркер всем своим существом, то вас ведут на третий этаж посмотреть на большую комнату мистера Скиддера. Комната мистера Скиддера не сдается. Сам он сидит в ней целыми днями, пишет пьесы и курит папиросы. Однако сюда приводят каждого нового кандидата в съемщики, чтобы полюбоваться ламбрекенами. После каждого такого посещения на мистера Скиддера находит страх, что ему грозит изгнание, и он отдает еще часть долга за комнату.

И тогда — о, тогда! — Если вы еще держитесь на ногах, потной рукой зажимая в кармане слипшиеся три доллара, и хриплым голосом объявляете о своей отвратительной, достойной всяческого порицания бедности, миссис Паркер больше не водит, вас по этажам. Она громко возглашает: «Клара!», она поворачивается к вам спиной и демонстративно уходит вниз. И вот когда, чернокожая служанка, провожает вас вверх по устланной половичком узенькой крутой лестнице, ведущей на четвертый этаж, и показывает вам Комнату на Чердаке. Комната занимает пространство величиной семь на

восемь футов посредине дома. По обе стороны ее располагаются темный дощатый чулан и кладовка.

В комнате стоит узкая железная кровать, умывальник и стул. Столом и шкафом служит полка. Четыре голые стены словно смыкаются над вами, как крышка гроба. Рука ваша тянется к горлу, вы чувствуете, что задыхаетесь, взгляд устремляется вверх, как из колодца — и вы с облегчением вздыхаете: через маленькое окошко в потолке виднеется квадратик бездонного синего неба.

— Два доллара, сэр, — говорит Клара полупрезрительно, полуприветливо.

Однажды в поисках комнаты здесь появилась мисс Лисон. Она тащила пишущую машинку, произведенную на свет, чтобы ее таскала особа более массивная. Мисс Лисон была совсем крошечная девушка, с такими глазами и волосами, что казалось, будто они все росли, когда она сама уже перестала, и будто они так и хотели сказать: «Ну что же ты отстаешь от нас!»

Миссис Паркер показала ей кабинет с приемной.

— В этом стенном шкафу, — сказала она, — можно держать скелет, или лекарства, или уголь...

— Но я не доктор и не зубной врач, — сказала, поживаясь, мисс Лисон.

Миссис Паркер окинула ее скептическим, полным жалости и насмешки, ледяным взглядом, который всегда был у нее в запасе для тех, кто оказывался не доктором и не зубным врачом, и повела ее на второй этаж.

— Восемь долларов? — переспросила мисс Лисон. — Что вы! Я не миллионерша. Я всего-навсего машинистка в конторе. Покажите мне что-нибудь этажом повыше, а ценою пониже.

Услышав стук в дверь, мистер Скиддер вскочил и рассыпал окурки по всему полу.

— Простите, мистер Скиддер, — с демонической улыбкой сказала миссис Паркер, увидев его смущение. — Я не знала, что вы дома. Я пригласила эту даму взглянуть на ламбрекены.

— Они на редкость хороши, — сказала мисс Лисон, улыбаясь точь-в-точь, как улыбаются ангелы.

Не успели они уйти, как мистер Скиддер спешно начал стирать резинкой высокую черноволосую героиню своей последней (неизданной) пьесы и вписывать вместо нее маленькую и задорную, с тяжелыми блестящими волосами и оживленным лицом.



— Анна Хелд ухватится за эту роль, — сказал мистер Скиддер, задрав ноги к ламбрекенам и исчезая в облаке дыма, как какая-нибудь воздушная каракатица.

Вскоре набатный призыв «Клара!» возвестил миру о состоянии кошелька мисс Лисон. Темный призрак схватил ее, поднял по адской лестнице, втолкнул в склеп с тусклым светом где-то под потолком и пробормотал грозные таинственные слова: «Два доллара!»

— Я согласна, — вздохнула мисс Лисон, опускаясь на скрипящую железную кровать.

Ежедневно мисс Лисон уходила на работу. Вечером она приносила пачки исписанных бумаг и перепечатывала их на машинке. Иногда у нее не было работы по вечерам, и тогда она вместе с другими обитателями дома сидела на ступеньках крыльца. По замыслу природы мисс Лисон не была предназначена для чердака. Это была веселая девушка, и в голове у нее всегда роились всякие причудливые фантазии. Однажды она разрешила мистеру Скиддеру прочитать ей три акта из своей великой (не опубликованной) комедии под названием «Он не Ребенок, или Наследник Подземки».

Мужское население дома всегда радостно оживлялось, когда мисс Лисон находила свободное время и часок-другой сидела на крыльце. Но миссис Лонгнекер, высокая блондинка, которая была учительницей в городской школе и возражала: «Ну уж, действительно!» на все, что ей говорили, садилась на верхнюю ступеньку и презрительно фыркала. А мисс Дорн, догорая по воскресеньям ездила на Кони-Айленд стрелять в тире по движущимся уткам и работала в универсальном магазине, садилась на нижнюю ступеньку и тоже презрительно фыркала. Мисс Лисон садилась на среднюю ступеньку, и мужчины быстро собирались вокруг нее.

Особенно мистер Скиддер, который отводил ей главную роль в романтической (никому еще не поведанной) личной драме из действительной жизни. И особенно мистер Гувер, сорока пяти лет, толстый, богатый и глупый. И особенно очень молоденький мистер Ивэнс, который нарочно глухо кашлял, чтобы она упрашивала его бросить курение. Мужчины признали в ней «забавнейшее и приятнейшее существо», но фырканье на верхней и нижней ступеньках было неумолимо.

Прошу вас, подождем, пока Хор подступит к рампе и прольет траурную слезу на комплекцию мистера Гувера. Трубы, возвестите о пагубности ожирения, о проклятье полноты, о трагедии тучности. Если вытопить романтику из толстяка Фальстафа, то ее, возможно, окажется

гораздо больше, чем в худосочном Ромео. Любовнику разрешается вздыхать, но ни в коем случае не пыхтеть. Удел жирных людей — плясать в свите Момуса. Напрасно самое верное сердце в мире бьется над пятидесятидвухдюймовой талией. Удались, Гувер! Гувер, сорока пяти лет, богатый и глупый, мог бы покорить Елену Прекрасную; Гувер, сорока пяти лет, богатый, глупый и жирный — обречен на вечные муки. Тебе, Гувер, никогда ни на что нельзя было рассчитывать.

Как-то раз летним вечером, когда жильцы миссис Паркер сидели на крыльце, мисс Лисон взглянула на небеса и с милым веселым смешком воскликнула:

— А, вон он, Уилли Джексон! Отсюда его тоже видно. Все насмотрелись наверх — кто на окна небоскребов, кто — на небо, высматривая какой-нибудь воздушный корабль, ведомый упомянутым Джексонном.

— Это вон та звезда, — объяснила мисс Лисон, показывая тоненьким пальцем, — не та большая, которая мерцает, а рядом с ней, та, что светит ровным голубым светом. Она каждую ночь видна из моего окна в потолке. Я назвала ее Уилли Джексон.

— Ну уж действительно! — сказала мисс Лонгнекер. — Я не знала, что вы астроном, мисс Лисон.

— О да! — сказала маленькая звездочетша. — Я знаю ничуть не хуже любого астронома, какой покрой рукава будет осенью в моде на Марсе.

— Ну уж действительно! — сказала мисс Лонгнекер. — Звезда, о которой вы упомянули, называется Гамма из созвездия Кассиопеи. Она относится к звездам второй величины и проходит через меридиан в...

— О, — сказал очень молоденький мистер Ивэнс, — мне кажется, для нее больше подходит имя Уилли Джексон.

— Ясное дело, — сказал мистер Гувер, громко и презрительно засопев в адрес мисс Лонгнекер, — мне кажется, мисс Лисон имеет право называть звезды, как ей хочется, ничуть не меньше, чем все эти старинные астрологи.

— Ну уж действительно, — сказала мисс Лонгнекер.

— Интересно, упадет эта звезда или нет, — заметила мисс Дорн. — В воскресенье в тире от моих выстрелов упали девять уток и один кролик из десяти.

— Отсюда, снизу, он не такой красивый, — сказала мисс Лисон. — Вот вы бы посмотрели на него из моей комнаты. Знаете, из колодца звезды видны даже днем. А моя комната ночью прямо как ствол угольной шахты, и Уилли Джексон похож на большую бриллиантовую булавку, которой Ночь украсила свое кимоно.

Потом пришло время, когда мисс Лисон не приносила больше домой неразборчивые рукописи для перепечатки. И по утрам, вместо того, чтобы идти на работу, она ходила из одной конторы в другую, и сердце ее стило от постоянных холодных отказов, которые ей передавали через наглых молодых конторщиков. Так продолжалось долго.

Однажды вечером, в час, когда она обычно приходила после обеда из закусочной, она устало поднялась на крыльцо дома миссис Паркер. Но на этот раз она возвращалась не пообедав.

В вестибюле она встретила мистера Гувера, и тот сразу воспользовался случаем. Он предложил ей руку и сердце, возвышаясь над ней, как громадный утес. Она отступила и прислонилась к стене. Он попытался взять ее за руку, но она подняла руку и слабо ударила его по щеке. Шаг за шагом она медленно переступала по лестнице хватаясь за перила. Она прошла мимо комнаты мистера Скиддера, где он красными чернилами вписывал в свою (непринятую) комедию ремарки для Мэртл Делорм (мисс Лисон), которая должна была «пируэтом пройти от левого края сцены до места, где стоит Граф». По усталой половинкой крутой лестничке она, наконец, доползла до чердака и открыла дверь в свою комнату.

У нее не было сил, чтобы зажечь лампу или раздеться. Она упала на железную кровать, и старые пружины даже не прогнулись под ее хрупким телом. Погребенная в этой преисподней, она подняла тяжелые веки и улыбнулась.

Потому что через окно в потолке светил ей спокойным ярким светом верный Уилли Джексон. Она была отрезана от всего мира. Она погрузилась в черную мглу, и только маленький холодный квадрат обрамлял звезду, которую она назвала так причудливо и, увы, так бесплодно. Мисс Лонгнекер, должно быть, права: наверно, это Гамма из созвездия Кассиопеи, а совсем не Уилли Джексон. И все же так не хочется, чтобы это была Гамма.

Она лежала на спине и дважды пыталась поднять руку. В третий раз она с трудом поднесла два исхудалых пальца к губам и из своей темной ямы послала Уилли Джексону воздушный поцелуй. Рука ее бессильно упала.

— Прощай, Уилли, — едва слышно прошептала она. — Ты за тысячи тысяч миль отсюда и ни разу даже не мигнул. Но ты мне светил оттуда почти все время, когда здесь была сплошная тьма, ведь правда? Тысячи тысяч миль... Прощай, Уилли Джексон.

В десять часов утра на следующий день чернокожая служанка Клара обнаружила, что дверь мисс Лисон заперта, дверь взломали. Не помогли ни

уксус, ни растирания, ни жженные перья, кто-то побежал вызывать скорую помощь.

Не позже чем полагается, со страшным звоном, карета развернулась у крыльца, и из нее выпрыгнул ловкий молодой медик в белом халате, готовый к действию, энергичный, уверенный, со спокойным лицом, чуть жизнерадостным, чуть мрачным.

— Карета в дом сорок девять, — коротко сказал он. — Что случилось?

— Ах да, доктор, — надулась миссис Паркер, как будто самым важным делом было ее собственное беспокойство оттого, что в доме беспокойство. — Я просто не понимаю, что с ней такое. Чего мы только не перепробовали, она все не приходит в себя. Это молодая женщина, некая мисс Элси, да, — некая мисс Элси Лисон. Никогда раньше в моем доме...

— Какая комната! — закричал доктор таким страшным голосом, какого миссис Паркер никогда в жизни не слышала.

— На чердаке. Это...

По-видимому, доктор из скорой помощи был знаком с расположением чердачных комнат. Он помчался вверх, прыгая через четыре ступеньки. Миссис Паркер медленно последовала за ним, как того требовало ее чувство собственного достоинства.

На первой площадке она встретила доктора, когда он уже возвращался, неся на руках астронома. Он остановился и своим острым, как скальпель, языком отрезал несколько слов, не очень громко. Миссис Паркер застыла в неловкой позе, как платье из негнущейся материи, соскользнувшее с гвоздя. С тех пор чувство неловкости в душе и теле осталось у нее навсегда. Время от времени любопытные жильцы спрашивали, что же это ей сказал тогда доктор.

— Лучше не спрашивайте, — отвечала она. — Если я вымолю себе прощение за то, что выслушала подобные слова, я умру спокойно.

Доктор со своей ношей шагнул мимо своры зевак, которые всегда охотятся за всякими любопытными зрелищами, и даже они, ошеломленные, расступились, потому что вид у него был такой, словно он хоронит самого близкого человека.

Они заметили, что он не положил безжизненное тело на носилки, приготовленные в карете, а только сказал шоферу: «Гони что есть духу, Уилсон!»

Вот и все. Ну как, получился рассказ? На следующий день в утренней газете я прочел в разделе происшествий маленькую заметку, и последние слова ее, быть может, помогут вам (как они помогли мне) расставить все случившееся по местам.

В заметке сообщалось, что накануне с Восточной улицы, дом 49, в больницу Бельвю доставлена молодая женщина, страдающая истощением на почве голода. Заметка кончалась словами:

— «Доктор Уильям Джексон, оказавший первую помощь, утверждает, что больная выздоровеет».

# Из любви к искусству

*Перевод Т. Озерской.*

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли, впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и Улонге<sup>[2]</sup>.

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартиру и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат продай имение свое и раздай нищим,

а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартир, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда, но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят мне неприятзательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги

мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок? — торжествующе объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал... генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду, заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дали, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним... а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры И думать не смей бросать мистера Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они подадутся на глаза



какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.

— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?»

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один-четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную

станцию. Повезет ее с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, не отделимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она. — Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни... ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно.

— А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. — Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продал ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?

— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия. — Утюг... то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...

— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо. Он опустился на кушетку,

притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это та занималась последние две недели? — спросил он.

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни... потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия. — И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста... нет, поцелуй меня сначала, скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался... до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не...

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы... Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь...

## Дебют Мэгги

*Перевод Н. Дехтеревой.*

Каждый субботний вечер клуб «Трилистник» устраивал танцы в зале спортивного общества «Равные шансы», помещавшегося в Ист-Сайде. Чтобы получить право посещать эти танцы, вам полагалось или состоять членом общества «Равные шансы», или же работать на картонажной фабрике Райнгольда — последнее, разумеется, при условии, что, танцуя вальс, вы не путали, где у вас правая нога и где левая. Впрочем, любой член «Трилистника» пользовался разовой привилегией явиться в сопровождении постороннего — партнера или партнерши. Но в подавляющем большинстве случаев каждый из «трилистников» приводил с картонажной фабрики ту, к которой испытывал особое расположение. Мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах «Трилистника».

У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстракослапый стиль в тустепе, и потому на танцы она ходила вместе с Анной Мак-Карги и ее «парнем». Анна и Мэгги работали на фабрике бок о бок и были закадычными подругами, поэтому Анна заставляла Джимми Бернса каждую субботу заходить с ней на дом к Мэгги, чтобы та тоже могла побывать с ними на танцах.

Спортивное общество «Равные шансы» оправдывало свое наименование. Его гимнастический зал на Орчард-стрит был оборудован всевозможными снарядами, способствующими развитию мускулатуры. Члены общества, характер которых сложился при таких обстоятельствах, были склонны к бодрым физическим соревнованиям с полицией и с различными спортивными и неспортивными соперничающими организациями. Субботний бал, прерывающий эти серьезные занятия, одновременно оказывал облагораживающее влияние и служил надежной ширмой. Ибо время от времени проползал слушок, и если вы принадлежали к числу избранных, вы на цыпочках поднимались по неосвященной лестнице черного хода и могли присутствовать при самой безукоризненной встрече борцов полусреднего веса, какая когда-либо происходила за канатами арены.

По субботам картонажная фабрика Райнгольда заканчивала работу в три часа. В один из таких дней Анна и Мэгги вместе возвращались домой.

У дверей дома, где жила Мэгги, Анна сказала, как всегда:

— Ровно к семи будь готова, Мэгги, мы с Джимми зайдем за тобой.

Но что это? Вместо того чтобы, как обычно, услышать от неудачливой подруги униженные изъявления благодарности, Анна увидела высоко вздернутую голову, горделивые ямочки в уголках широкого рта и подобие блеска в тусклых карих глазах.

— Спасибо, Анна, — сказала Мэгги, — но сегодня вам с Джимми незачем беспокоиться. За мной зайдет один знакомый.

Миловидная Анна кинулась к подруге, принялась тормошить, упрекать и умолять ее. Мэгги Тул подцепила парня! Славная, преданная, неприметная дурнушка Мэгги — добрая товарка, но такая непривлекательная в качестве партнерши в танцах или на залитой луной скамейке в маленьком парке! Как это так? Когда это случилось? Кто он?

— Сегодня вечером увидишь, — сказала Мэгги, зардевшись от вина из первых гроздей, собранных в винограднике Купидона. — Шикарный что надо. На два дюйма выше Джимми, и модный дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как только войдем в зал.

Анна и Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила Мэгги в свои сети.

В половине девятого мисс Тул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми.

— Ого! Вот это да! — воскликнула Анна. — Вот это называется оторвала! Шикарный, а? Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми!

— Давай, давай, не стесняйся, — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. — Иди, лови его, коли так нравится. Придет новый тип, фасонит и уже «ах, ах!». Можешь не обращать на меня внимания. Небось не все до одной на него клюнут. Подумаешь!

— А, заткнись, Джимми! Ты же понимаешь, о чем я говорю. Я рада за Мэгги. Ведь это у нее первый в жизни парень. Вот они идут сюда!

Мэгги двигалась через зал, словно кокетливая яхта, конвоируемая величественным крейсером. В самом деле, ее кавалер заслуживал панегирика верной Анны. На два дюйма выше среднего атлета из «Равных шансов»; темные выющиеся волосы; глаза и зубы сверкают при каждой то и дело мелькающей улыбке. Молодые люди из клуба «Трилистник» ценили в мужчине не столько внешнюю привлекательность и изысканные манеры, сколько отвагу, успешность в решении конфликтов «вручную» и умение

уклоняться от постоянно угрожавшей им «казенной квартиры». Член этого общества, желающий привязать к своей победной колеснице деву с картонажной фабрики, не унижался до того, чтобы стараться выиграть сражение методами Красавца Бруммея<sup>[3]</sup>. Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, еле стягиваемый пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представитель мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания, — таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей из «Трилистника». Даже ноги, выгнутые дугой, не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминая то, которым пользуется Купидон. И потому атлеты-ветераны клуба поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом.

— Мой друг, мистер Терри О’Салливен, — так представляла его Мэгги. Она обвела его вокруг всего зала, знакомя с каждым «трилистником» по мере их появления. Она стала почти хорошенькой, в глазах ее появился тот особый блеск, какой бывает у всякой девушки, заполучившей своего первого поклонника, или у котенка, поймавшего свою первую мышь.

— Ну, наконец-то Мэгги нашла себе парня, — все как одна высказались девушки с картонажной фабрики.

— Мэгги Тул приманила шаркуна, — в такой форме спортсмены общества «Равные шансы» выразили свое равнодушное презрение.

Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены. Если иной раз кто-нибудь из чувства самопожертвования и приглашал ее на танец, она испытывала и выражала вслух столько благодарности, что в значительной степени умяла и обесценивала его удовольствие. Она даже привыкла замечать, как Анна толкает Джимми локтем, подавая ему знак, что он должен выполнить свою повинность — пригласить ее подругу и дать ей возможность на протяжении нескольких минут наступать ему на ноги.

Но в этот вечер тыква превратилась в карету с шестеркой коней. Терри О’Салливен стал победителем принцем, и Мэгги Тул распустила крылышки для своего первого полета бабочки. И хотя в наших метафорах волшебные сказки несколько перепутались с энтомологией, они не убавляют ни единой капли амброзии с увенчанного розами первого чудесного бала Мэгги.

Девушки осаждали Мэгги, прося познакомиться с «ее парнем». Молодые люди из «Трилистника», после двух лет слепоты, вдруг прозрели и

заметили, что мисс Тул не лишена обаяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать.

Так Мэгги взяла реванш за прежнее. А что до Терри О'Салливена, то его успех на вечере был выше всякой меры. Он встряхивал кудрями, дарил улыбки и с легкостью проделывал все те семь телодвижений, на которые вы ежедневно тратите десять минут у себя в комнате перед открытым окном для приобретения гибкости и изящества. Он танцевал, как фавн. Он создавал вокруг себя атмосферу любезности и тонкого обращения: слова свободно слетали с его языка и... и он два раза подряд протанцевал вальс с той картонажной девушкой, которую привел Демпси Донован.

Демпси был главарем общества. Он носил фрак и мог дважды подтянуться на перекладине, держась одной рукой. Он был одним из подручных «Большого Майка» О'Салливена, и тревоги его не тревожили: ни один фараон не осмелился бы арестовать его. Если Демпси случалось пробить голову уличному торговцу или всадить пулю в коленную чашку члена Клуба любителей природы и литературы имени Хайнрика Б. Суини, кто-нибудь из полицейского участка заходил к нему мимоходом и говорил:

— Загляни к нам как-нибудь, Демпси, когда найдешь время. Капитан хочет перекинуться с тобой парой слов.

Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавный анекдот, и после этого Демпси возвращался к себе и полчаса работал с шестифунтовыми гантелями. Поэтому прогулку по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером по сравнению с тем, чтобы дважды провальсировать с девушкой Демпси Донована. В десять часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия «Большого Майка» О'Салливена и в течение пяти минут озаряла улыбкой бальный зал. «Большой Майк» всегда заглядывал на пять минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам и раздавал настоящие перфекто<sup>[4]</sup> молодым людям, к большому удовольствию последних.

Демпси Донован мгновенно оказался с ним рядом и что-то быстро проговорил. «Большой Майк» внимательно оглядел танцующих, улыбнулся, покачал головой и отбыл.

Музыка смолкла. Танцоры расселись на стульях вдоль стен. Терри О'Салливен, отвесив артистический поклон, вернул хорошенькую девушку в голубом ее обычному партнеру и направился на поиски Мэгги. Посреди зала Демпси Донован преградил ему путь.

Некий тонкий инстинкт, унаследованный нами, вероятно, от времен

Древнего Рима, заставил почти всех присутствующих обернуться и взглянуть на них — у всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене. Двое или трое из «Равных шансов» с бицепсами, плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе.

— Минутку, мистер О’Салливен, — проговорил Демпси. — Надеюсь, вам у нас понравилось. Где, вы сказали, вы живете?

Оба гладиатора были один другому под стать. Демпси, возможно, не мешало бы сбросить фунтов десять веса. О’Салливен отличался некоторой несдержанностью движений. У Демпси был ледяной взгляд, властная линия рта, несокрушимые челюсти, цвет лица юной красоти и хладнокровие чемпиона. Гость более пылко выражал свое презрение и меньше сдерживал язвительную насмешку. Они были врагами согласно закону, написанному уже в ту пору, когда еще не остыли камни. Оба были слишком великолепны, слишком мощны, слишком несравненны, чтобы делить главенство. Лишь один из них мог выжить.

— Я живу на Гранд-стрит, — сказал О’Салливен вызывающим тоном. — И застать меня дома нетрудно. А вот где вы живете?

Демпси как будто не слышал вопроса.

— Так вы говорите, вас зовут О’Салливен, — продолжал он. — А вот «Большой Майк» сказал, что никогда вас прежде не видел.

— Он много чего не видел, — ответил фаворит бального зала.

— Вообще-то говоря, — продолжал Демпси любезным, но несколько хриплым голосом, — в нашем районе все О’Саллиvenes друг друга знают. Вы пришли с одной из наших дам, членом нашего клуба, и нам бы хотелось быть в курсе дела. Если у вас имеется фамильное древо, дайте нам возможность познакомиться с какими-нибудь выросшими на нем историческими отростками. Или вы предпочитаете, чтобы мы это древо вырвали из вас с корнем?

— А не лучше ли вам не совать нос, куда не следует? — предложил О’Салливен невозмутимо.

Глаза Демпси оживились. Он поднял указательный палец, и на лице у него появилось такое выражение, будто его осенила блестящая мысль.

— Понял, — проговорил он сердечным тоном. — Понял. Произошло небольшое недоразумение. Вы не О’Салливен. Вы цепкохвостая обезьяна. Прошу прощения, что не узнал вас сразу.

Глаза О’Салливена сверкнули. Он сделал быстрое движение, но Энди Гоуген был начеку и успел схватить его за руку.

Демпси кивнул Энди и Уильяму Мак-Мохэну, секретарю клуба, и быстро зашагал к двери в конце зала. Еще двое спортсменов из общества



«Равные шансы» мгновенно присоединились к небольшой группе. Терри О'Салливен был теперь в руках Совета клуба и Общественных судей. Они поговорили с ним мягко и кратко и вывели его из зала через заднюю дверь.

Этот маневр со стороны членов общества нуждается в некотором пояснении. За просторным танцевальным залом находилась комната поменьше, также арендуемая клубом. В этом помещении все персональные конфликты, возникающие на балах, разрешались один на один с помощью оружия, дарованного человеку самой природой, и под наблюдением Совета общества. Ни одна представительница прекрасного пола не могла бы сказать, что когда-либо своими глазами видела рукопашную схватку во время бала «трилистников». Мужские представители клуба не допускали этого.

Так легко и гладко прошли предварительные переговоры, что многие в зале и не заметили, как прервался бальный триумф О'Салливена. Среди таких была Мэгги. Она ходила и искала своего провожатого.

— Проснись! — сказала ей Роза Кассиди. — Ты что, не знаешь? Демпси Донован схлестнулся с твоим красавчиком, и они все провальсировали на бойню. Скажи, Мэгги, как тебе нравится моя новая прическа?

Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой блузки.

— Он пошел драться с Демпси! — еле выговорила она. — Надо их остановить! Демпси Донован не может с ним драться. Да ведь... да ведь он его убьет!

— А-а, что тебе за дело? — сказала Роза. — Они на каждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли?

Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в лабиринте танцующих. Она стремглав ворвалась через дверь в конце зала в темный коридор и налегла крепким плечом на дверь комнаты, служившей ареной поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэгги увидела все — Совет клуба с часами в руках, Демпси Донована без пиджака, с воинственной грацией современного боксера, приплясывающего почти перед носом противника, и Терри О'Салливена, который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком — она как раз успела схватить О'Салливена за руку, повиснуть на ней и вырвать из нее длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи.

Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в помещении клуба «Равные шансы»! Такого еще ни разу не случилось. С минуту все стояли, застыв на месте. Потом Энди Гоуген с любопытством взглянул на стилет и

двинул его носком ботинка — словно археолог, столкнувшийся с древним, еще неведомым ему оружием.

И тогда О'Салливен прошипел сквозь зубы что-то невразумительное. Демпси и члены Совета обменялись взглядами. Затем Демпси взглянул на О'Салливена без гнева, как смотрят на приبلудную собаку, и кивком головы указал ему на дверь.

— С черного хода, Джузеппе, — сказал он отрывисто. — Кто-нибудь швырнет тебе вслед твою шляпу.

Мэгги подошла к Демпси Доновану. На щеках ее горели алые пятна и по ним медленно текли слезы. Но она мужественно взглянула ему в лицо.

— Я знала это, Демпси, — сказала она, и глаза ее потускнели даже в потоках слез. — Я знала, что он италяшка. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала сюда, когда мне сказали, что у вас драка. Такие, как он, всегда носят ножи. Но ты не понимаешь, Демпси: у меня еще никогда не было парня и мне так надоело каждую субботу таскаться вместе с Анной и Джимми, и я уговорила с этим Спинелли, чтобы он назвался О'Салливен, и сама привела его сюда. Его ведь к нам не пустили бы, если бы знали, кто он такой. Мне придется выйти из клуба, я понимаю.

Демпси повернулся к Энди Гоуэну.

— Выбрось эту пилу для сыра в окно, — проговорил он. — И скажи там в зале, что мистера О'Салливена вызвали по телефону в Тэмени-холл [5].

Потом он снова повернулся к Мэгги.

— Послушай, Мэг, — сказал он, — я провожу тебя домой. И как насчет следующей субботы? Хочешь пойти со мной на танцы, если я зайду за тобой?

Поразительно, с какой быстротой карие глаза Мэгги из тусклых становились блестящими.

— С тобой, Демпси? — сказала она, запинаясь. — Ты ещё спроси — хочет ли утка плавать?

# Прожигатель жизни

*Перевод Л. Каневского.*

Мне хотелось узнать пару-тройку вещей. Не люблю тайн. Посему я начал расследование.

Две недели ушло у меня на исследование того, что женщины носят в своих небольших плоских чемоданчиках. Потом меня занимало, почему матрац состоит из двух частей. Вначале мое такое серьезное расследование столкнулось с подозрением, потому что оно казалось всем головоломкой. В конце концов мне стало ясно, что такая двойная конструкция преследовала цель облегчить труд женщины, которая стелет постель. Я имел достаточно глупости, чтобы продолжать, и спрашивал у всех, почему в таком случае они не делают с двумя одинаковыми частями, но все от меня испуганно сторонились.

Третьей вещью, которую я жаждал получить из фонтана знаний, было стремление непременно стать просвещенным по поводу такого человека, которого мы называем *Прожигателем жизни*. Мои представления о таком типе были крайне расплывчатыми, чего никак нельзя было допустить. Мы всегда должны иметь конкретное представление о чем бы то ни было, даже если речь идет о воображаемой идее, иначе всего этого не понять. Теперь у меня есть воображаемый портрет Джона Доу, такой четкий и ясный, словно он гравирован на стальном листе. У него близорукие голубые глаза, он носит коричневую жилетку и блестящий черный сюртук из саржи. Он всегда стоит на солнцепеке и непременно что-то жует, его карманный нож полураскрыт, и он постоянно трогает его лезвие большим пальцем. Ну а что касается *Человека наверху*, то если его найдут, то можете мне поверить — это будет крупный, бледный мужчина с голубыми прожилками на запястьях под белыми манжетами, он будет чистить свои ботинки на улице, куда долетают звуки игры в шары, и в его облике будет что-то изумрудное.

Но воображение мое, когда нужно было описать портрет *Прожигателя жизни*, оказалось чрезвычайно скудным. Я представил себе, что у него презрительный смехок (как улыбка Чеширского кота) и пристегнутые манжеты, и это все.

После этого я спросил об этом одного газетчика, репортера.

— Ну, — начал он свое объяснение, — *Прожигатель жизни* — это нечто среднее между бездельником и завсегдатаем клуба. Это, правда, не

совсем точно, но он похож на того, кого приглашает на приемы миссис Фиш и кто следит за частными боксерскими поединками. Он, конечно, не принадлежит к клубу «Лотос» или Ассоциации Джерри Мак-Джорджана, учеников сталелитейщиков, выпускающих оцинкованную сталь, и любителей похлебки из моллюсков. Не знаю, право, как поточнее вам его описать. Вы увидите его повсюду, там, где что-то происходит. Да, я думаю, — это настоящий тип. Модно одевается по вечерам; знает каждого полицейского или официанта в городе по имени. Нет, он никогда не путешествует с крашенными перекистью водорода блондинками. Он всегда либо один, либо в компании с настоящим человеком.

На этом репортер оставил меня, и я стал сам углубляться в тему. К этому времени все три тысячи сто двадцать шесть электрических лампочек зажглись в Риальто. Мимо шли люди, но они меня не интересовали. Куртизанки жгли меня своими глазами, но ожогов на мне не оставалось. Мимо шли любители поесть, пешеходы, продавщицы, доверенные лица, попрошайки, актеры, дорожные работники, миллионеры, иностранцы — все они скользили, подпрыгивали, крались, шли вразвалочку, — но я их не замечал. Я их всех знал, я читал в их сердцах, они уже мне отслужили. Мне нужен был теперь *Прожигатель жизни*. Он был настоящим типом, и отказаться от него было бы ошибкой, даже типографской! — так что нет! Будем продолжать.

Ну, что же, если продолжать, то с отступления нравственного порядка. В самый раз понаблюдать за семьей, читающей воскресную газету. Ненужные страницы уже отброшены. Папа с важным видом пристально разглядывает фотографию молодой девушки, которая занимается физическими упражнениями перед распахнутым настежь окном, она совершает опасные наклоны, но будет, будет! Мама старается найти недостающие буквы в слове — Н-ю Йо-к. Старшие девочки жадно изучают финансовые сообщения, так как какой-то молодой человек сказал, что в прошлое воскресенье он совершил умопомрачительную биржевую аферу. Вилли, восемнадцатилетний сынок, который посещает Нью-Йоркскую публичную школу, погружен в еженедельно появляющуюся статью о том, что можно сделать со старой рубашкой, так как надеется получить приз в соревновании по шитью в день их выпуска.

Бабушка уже два часа штудировает юмористическое приложение. А маленькая Тотти, совсем еще младенец, ловко ползает по страницам, где указаны сделки с недвижимостью.

Такая картина весьма приятна, и она призывает меня скостить несколько строк в рассказе. Иначе пришлось бы говорить о горячительных

напитках.

Я пошел в кафе и, пока мне смешивали мою выпивку, спросил у человека, хватающего еще теплый мой стакан после того, как я его выпиваю и ставлю на стойку, что он понимает под термином, эпитетом, описанием или характеристикой того, что называется *Прожигатель жизни*?

— Ну, — осторожно начал он, — это такой парень, который любит принимать участие в ночных тусовках, понимаете, это — увлекательный спорт, и тут не до тормозов — вот что это значит, как я думаю.

Я поблагодарил его и пошел прочь.

На тротуаре девушка из Армии Спасения побренчала своей коробкой для сбора подаяний возле моего кармана.

— Не могли бы вы мне сказать, — обратился я к ней, — приходилось ли вам когда-нибудь встречать такого человека, которого обычно называют *Прожигателем жизни*, во время своих ежедневных прогулок?

— Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду, — ответила она с милой улыбкой. — Мы их постоянно видим в одних и тех же местах по ночам. Они — пособники дьявола, и если бы солдаты любой армии хранили бы такую же верность присяге, как они ему, то их командиры были бы этим весьма довольны. Мы общаемся с ними, пытаемся выжать несколько пенни из этих исчадий во имя служения Господу.

Она снова забренчала железной коробкой, и я бросил в щель дайм.

Перед сияющим огнями отелем я увидел своего приятеля, литературного критика, который вылезал из экипажа. Казалось, он никуда не спешил, и я обратился к нему с тем же вопросом. Он мне искренне ответил, на что я и рассчитывал.

— Здесь, в Нью-Йорке, существует такой тип — *Прожигатель жизни*, — сказал он. — Этот термин мне хорошо знаком, но, по-моему, еще никто прежде не просил меня описать такого человека. Я сказал бы, недолго думая, что это такой человек, который безнадежно болен весьма распространенной у нас в Нью-Йорке болезнью — желанием все видеть и все знать. Он строго соблюдает все условности в одежде и в манерах, а в искусстве совать свой нос туда, куда его не просят, он может любому дать сто очков вперед: любопытной кошке, циветте или галке. Это человек, прогнавший всю богему из винных погребков на крышу сада и с Хестер-стрит в Гарлем, таким образом в городе не осталось ни одного места, где они режут спагетти ножом. Все это сделал ваш *Прожигатель жизни*. Он всегда идет по следу чего-то нового. Он — воплощение любопытства, неблагоразумия, вездесущности. Для него были изобретены двухколесные

экипажи, сигары с золотым ободком, а также музыка за обедом. Таких, как он, немного, и, хотя их — меньшинство, они все же заметны.

Я очень рад, что вы затронули эту тему, я чувствовал то влияние, которое оказывает эта ночная болезнь на наш город, но я никогда прежде этого не анализировал. Теперь я осознаю, что вашего *Прожигателя жизни* нужно было квалифицировать давным-давно. За ним всегда увязываются агенты по продаже вина и модели, рекламирующие одежду, а оркестр исполняет для него «Давайте отправимся все выше и выше!», а не Генделя. Он совершает свои обходы каждый вечер, а мы с вами его не замечаем, как слона в зоопарке. Когда грабят сигаретный киоск, он лишь с чувством собственного достоинства подмигивает полицейскому офицеру и спокойно уходит, свободный от всяких подозрений, а мы с вами роемся в записных книжках, ищем имена президентов или звезд, чтобы их сержант записал как тех, кто за нас поручится.

Мой друг, литературный критик, немного помолчал, чтобы скопить энергии для нового приступа красноречия. Я тут же воспользовался моментом.

— Вы верно его квалифицировали, — радостно воскликнул я. — Вы удачно нарисовали его портрет в галерее городских типов. Но мне нужно с таким встретиться лицом к лицу. Я должен изучить Прожигателя жизни, основываясь на сведениях из первых рук. Где я могу найти его? Как я его узнаю?

Но критик, видимо, меня не слышал, так как продолжал. А извозчик терпеливо ждал, когда он заплатит за проезд.

— Это — сублимация бесцеремонного вмешательства в разговор, это — экстракт резиновой липучки высшей пробы это — сконцентрированный, очищенный, непреодолимый, неизбежный дух Любопытства и Пытливой любознательности. Он дышит новой сенсацией. А когда его опыт истощается, принимается за исследование новых областей с такой неутомимостью, что...

— Простите меня, — перебил я его, — не могли бы вы представить мне такого типа? Это совершенно нечто новое для меня. Мне нужно его изучить. И я обыщу весь город, покуда не найду его. Вероятно, его обиталище где-то здесь, на Бродвее.

— Я собираюсь здесь пообедать, — сказал мой друг. — Пойдемте со мной, и если там окажется *Прожигатель жизни*, я незаметно укажу вам его. Я знаю там почти всех завсегдатаев.

— Я тоже еще не обедал, но вы, надеюсь меня простите. Я с вами не пойду. Не хочу зря терять времени. Ибо я намерен сегодня же вечером

найти *Прожигателя жизни*, даже если бы мне для этого пришлось прочесать весь Нью-Йорк от Бэттери до Кони-Айленда.

Я зашагал прочь от отеля по Бродвею. Мое расследование, связанное с этим типом, придавало вкус жизни, и я с особым удовольствием втягивал в ноздри воздух. Мне было так радостно находиться в этом громадном городе, таком сложном, таком различном. Не торопясь, с несколько напыщенным видом, я шел вперед, и сердце мое сильно колотилось в груди от сознания, что я — гражданин «великого Готхэма», как в шутку называют все Нью-Йорк, что я разделяю вместе с ним его великолепие, все его удовольствия, его славу и престиж.

Я решил перейти через улицу. Вдруг я услышал жужжание, словно летала пчела, потом я совершил долгую приятную прогулку на автомобиле. Когда я открыл глаза, то, вспомнив запах бензина, громко произнес:

— Разве все еще не кончилось?

Больничная нянечка положила свою удивительно мягкую руку мне на горячий лоб. Пришел моложавый доктор, он, широко улыбнувшись, передал мне утреннюю газету.

— Хотите узнать, что случилось? — весело спросил он.

И я прочитал статью. После заголовка шли строчки, в которых рассказывалось о том, что приключилось со мной после того момента, когда я накануне вечером услышал пчелиное жужжание.

А статейка заканчивалась такими строками: «В больнице Бельвю утверждают, что полученные пациентом повреждения не очень серьезные. На вид этот человек — типичный *Прожигатель жизни*».

## Фараон и хорал

*Перевод А. Горлина.*

Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сони начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы «Под открытым небом», чтобы постояльцы ее приготовились.

Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов — для Сопи это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным, приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние,



полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний сезон на Остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегла через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело.

Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопи верил в себя — от нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в День Благодарения<sup>[6]</sup> дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив, таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усеян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи, не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше... Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и проглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну, а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдешься без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и дошел дальше.

Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном островке будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и

направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крикнул, улыбнулся, откашлялся, словом — нагло пустил в ход все классические приемы уличного пристава. Уголкем глаза Сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? Я бы я раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

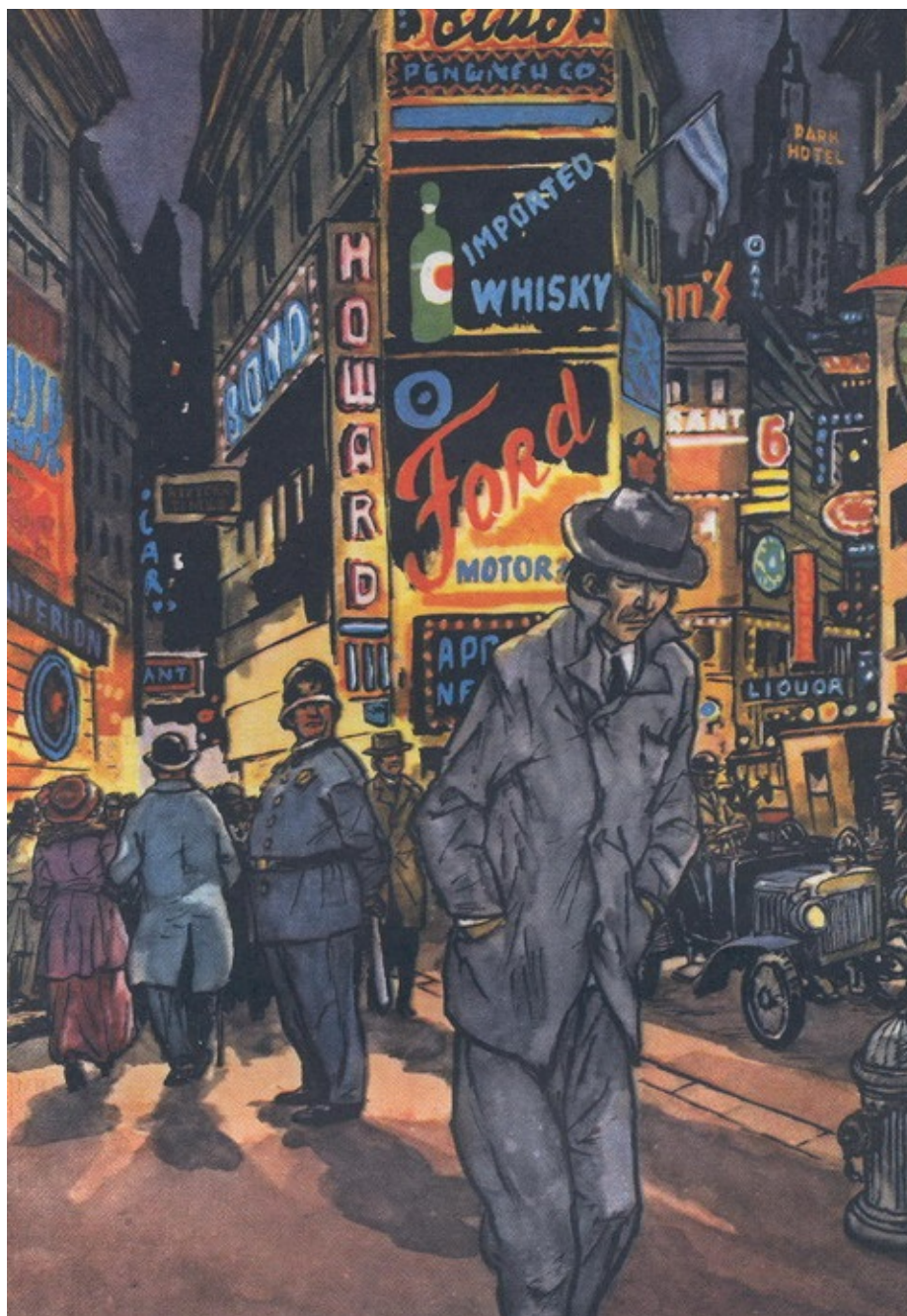
На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку «хулиганства в публичном месте».

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это йэльский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер пронизывал его насквозь.



В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свои шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик, — сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Почему же вы не позовете полисмена? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется, — сказал человек с сигарой, — конечно... вы... словом, бывают такие ошибки... я... если это ваш зонтик... надеюсь, вы извините меня... я захватил его сегодня утром в ресторане... если вы признали его за свой... что же... я надеюсь, вы...

— Конечно, это мой зонтик, — сердито сказал Сопи.

Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном мантио: нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского.

Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суэта и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизами сонно чирикали воробьи — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички.

Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилося в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое

сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честлюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он...

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собою широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего, — ответил Сопи.

— Тогда пойдем, — сказал полисмен.

— На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья.

# Гармония в природе

*Перевод Н. Дехтеревой.*

На днях я побывал на выставке и увидел там картину, проданную за пять тысяч долларов. У Крафта, ее создателя — юнца, прибывшего с Запада — было одно любимое кушанье и одна излюбленная теория. Его хлебом насущным была несокрушимая вера в Безупречную Гармонию в Природе. Свои теоретические рассуждения он строил вокруг рубленой солонины с яйцом-пашот. У картины имелась предыстория — вернувшись домой, я вытряхнул ее из своей авторучки. Только подумать, что Крафт...

Но не это начало рассказа.

Три года тому назад Крафт, Бил Джадкинс (поэт) и я питались у Сайфера на Восьмой авеню. Вернее сказать, нас там питали. Когда в наших карманах заводились деньги, Сайфер, как он сам выражался, «вынимал» их оттуда. Никакого официального кредита ресторан Сайфера нам не предоставлял. Мы приходили, заказывали еду, съедали ее. Потом или платили за нее, или не платили. Нас не отпугивала воркотня Сайфера и его свирепые брови. Где-то в глубинах его хмурой души он был либо принцем, либо глупцом, либо художником. Он сидел за изъеденным червоточинной столом, заваленным кипами официантских чеков такой давности, что, я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденные и оплаченные самим Гендриком Гудзоном<sup>[7]</sup>.

У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном III и пучеглазым окунем способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы. Однажды, когда мы уходили из ресторана, заплатив за еду лишь явно неубедительными извинениями, я обернулся и увидел, что Сайфер, глядя нам вслед затянутыми пленкой глазами, трясется от беззвучного смеха. Время от времени мы платили ему что-нибудь в счет долга.

Но самым примечательным в ресторане Сайфера была Милли. Милли работала официанткой. Она служила великолепным подтверждением теории Крафта относительно Гармонии в Природе. Милли в значительной степени была создана для ресторанного обслуживания, как Минерва для развития искусства потасовок, а Венера — для науки серьезного флирта. Отлитая из бронзы и водруженная на пьедестал, Милли стояла бы в ряду самых благородных из всех своих героических сестер, и имя ей было бы



Богиня, Насыщающая Мир. Она была неотделима от ресторана Сайфера. Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой туче прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзоном туманы появятся Палисады<sup>[8]</sup>.

Здесь, в облаках пара от вареных овощей, аромата бесчисленных порций «ветчины с...», среди грохота посуды, звона ножей и вилок, возгласов «спешный заказ!», криков проголодавшихся и жуткого шума насыщающихся, в ореоле жужжащих крылатых созданий, завещанных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, как огромный лайнер, рассекающий волны среди пирог с вопящими дикарями.

Наша Богиня Чревоугодия была таких мощных форм, что взирая на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локтя. Она могла бы всех нас троих мушкетеров сгрести в охапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от праматери нашей Евы и столько простодушия, что с самого начала она обращалась с нами по-матерински. Снедь из ресторанного меню она выкладывала нам на тарелки с царственным безразличием в отношении ее цены и количества, словно высыпала ее из неисчерпаемого рога изобилия. Голос ее звучал как большой серебряный колокол. Широкая, белозубая улыбка редко сходила с ее лица. Она была как золотистый солнечный восход на горных вершинах. Глядя на нее, я всякий раз вспоминал Йосемитскую долину<sup>[9]</sup>.

И при этом я как-то не мог представить ее себе вне ресторана Сайфера. Природа определила ей место, и именно здесь Милли пустила корни и дала пышный рост. Казалось, она была вполне довольна своим положением и, принимая по субботам свои жалкие несколько долларов, вспыхивала от удовольствия, как ребенок, получивший неожиданный подарок.

Крафт первым выразил вслух те опасения, которые, вероятно, давно уже зрели в каждом из нас. Вопрос был, разумеется, поднят случайно, что-то в связи с проблемами искусства, которые мы усердно обсуждали. Кто-то из нас сопоставил гармонию, существующую между симфонией Гайдна и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милли и рестораном Сайфера.

— Над Милли висит роковая опасность, — заметил Крафт. — И если это случится, она будет потеряна и для Сайфера и для нас.

— Неужели растолстеет? — спросил Джадкинс со страхом.

— Начнет посещать вечернюю школу, станет образованной? —



предположил я с тревогой.

— Дело вот в чем, — заговорил Крафт, при каждом слове тыча выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. — У каждого свое. У Цезаря — Брут, у хлопка — коробочный червь, у хористки — банкир из Питтсбурга, у прорастающего корня — ядовитый плющ, у героя — медаль Карнеги<sup>[10]</sup>, у искусства — Морган<sup>[11]</sup>, у розы...

— Ну, не тяни, — прервал я его, уже серьезно обеспокоенный. — Не думаешь ли ты, что Милли начнет носить корсет?

— В один прекрасный день, — произнес Крафт с мрачной торжественностью, — к Сайферу явится заказать тарелку бобов лесопромышленник-миллионер из Висконсина, и он женится на Милли.

— Никогда! — в ужасе воскликнули мы с Джадкинсом.

— Да-да, лесопромышленник, — повторил Крафт хрипло.

— Лесопромышленник-миллионер! — вздохнул я с отчаянием.

— Из Висконсина! — со стоном выдохнул из себя Джадкинс.

Мы все сошлись на том, что нашей Милли действительно может угрожать такая ужасная судьба. Это было более чем вероятно. Милли, обширная, как необозримая девственная сосновая роща, была создана, чтобы привлечь внимание лесопромышленника. Мы очень хорошо знали, что такое Барсук<sup>[12]</sup>, когда ему улыбнется фортуна. Сразу же направляется в Нью-Йорк и выкладывает свои богатства к ногам девицы, подавшей ему в закусочной тарелку бобов. Мы уже заранее видели броский газетный заголовок — он сам собой напрашивался журналисту воскресной газетки:

### ***ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ ПРОМЫШЛЕННИК***

### ***ПОКОРЁН ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ОФИЦИАНТКОЙ***

Некоторое время нас не покидало ощущение, что мы вот-вот потеряем нашу Милли.

Вдохновляла нас только любовь к Безупречной Гармонии в Природе. Мы не могли отдать Милли лесопромышленнику, вдвойне ненавистному из-за его богатства и места рождения. Нас передергивало при мысли, что Милли с укрощенным голосом и уже не засученными рукавами сидит в мраморном вигваме и наливает чай этому убийце деревьев. Нет, ни за что! Милли неотделима от ресторана Сайфера, от чада жареного бекона, аромата капусты, величественного вагнеровского хора небьющихся

фаянсовых кружек и гремящих судков.

Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас predetermined судьбой похитителя Милли — расплата за приверженность к гармонии и порядку! Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин, а Клондайк.

Мы сидели и ужинали тушеным мясом и сушеными яблоками, когда он ввалился в дверь, словно только что правил собачьей упряжкой, и расположился за нашим столом. С общительностью и громогласностью старателя он стал терзать наши уши, требуя товарищеского союза людей, затерянных в дикой глуши закусочной.

Мы приняли его как оно подобало и через три минуты были только что не готовы отдать жизнь друг за друга.

Грубый, неотесанный бородач с обветренной кожей, только что с паром на Северной реке. Мне чудилось, что на плечах его еще серебрится снежная пыль Чилкута<sup>[13]</sup>.

А потом он усыпал стол золотыми самородками, чучелами куропаток, бусами и тюленьими шкурами — все, как полагается только что вернувшемуся с Аляски, и принялся болтать о своих богатствах.

— В банке на счету у меня уже два миллиона, — подвел он итог. — Да на моих приисках в день до тысячи набирается. А сейчас я хочу тушеного мяса и консервированных персиков. Я не сходил с поезда с тех пор, как отъехал от Сиэтла, я изголодался. То, что негритосы скармливают вам в пульмановских вагонах, в счет не идет. Джентльмены, заказывайте, чего пожелаете.

И тут выплыла Милли с тысячью тарелок на вытянутой обнаженной руке — большая, бело-розовая, внушающая трепет, как горы Святого Илии<sup>[14]</sup>.

И улыбка на ее лице была как светлый день, зарождающийся в горном ущелье. Этот, с Клондайка, отшвырнул свои самородки, шкуры и чучела, как хлам, — челюсть у него отвисла, и он уставился на Милли. Вы словно уже видели бриллиантовые диадемы на ее волосах и шелковые, с ручной вышивкой парижские платья, которые он подумывал закупить для нее.

Коробочный червь добрался до хлопка, ядовитый плющ уже выпустил свои усики, чтобы зацепиться за молодой росток, лесопромышленник, грубо загримированный под золотоискателя с Аляски, готовился похитить нашу Милли и нарушить Гармонию Природы.

Крафт первым открыл военные действия. Он вскочил и смачно хлопнул по спине пришельца с Клондайка.

— Сперва пойдем выпьем! — заорал он. — Промочим горло, а еда уж потом.

Джадкинс подхватил миллионера под руку с одной стороны, я — с другой. Развязно, шумно, с бесшабашной веселостью мы вытащили его из ресторана, предварительно набив ему карманы его бальзамированными пичугами и несъедобными золотыми орешками, и потащили в кафе.

Он было заартачился, но вполне добродушно.

— Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется, товар по моим деньгам, — заявил он. — Она может есть из моего котелка до конца своей жизни. Ей-богу, сроду не видывал такой первосортной девушки. Пойду вернусь, скажу, чтоб выходила за меня замуж. Небось живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на кучу золотого песка, какую я насбирал.

— Теперь надо еще виски и молока, — настаивал Крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. — Я-то полагал, вы, ребята с Севера, покрепче.

Крафт истратил все свои микроскопические финансовые резервы у стойки и кидал на меня и Джадкинса такие умоляющие взгляды, что мы опустошили наши карманы до последнего цента, продолжая угощать гостя.

Когда мы, наконец, расстреляли все наши патроны, а этот, с Клондайка, все еще сохранял некоторую трезвость и начал опять лопотать что-то о Милли, Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое оскорбление насчет жмотов с капиталами, и тогда наш золотоискатель принялся швырять пригоршнями серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в наличии и запечатанные в бутылках жидкости, чтобы залить ими обвинение.

Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля боя его же оружием. А потом отвезли в маленькую отдаленную гостиницу и уложили в постель вместе с его самородками и шкурами тюленьих детенышей.

— Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сайфера, — сказал Крафт. — Он сделает предложение первому белому фартучку, который увидит завтра утром в молочной закусочной. И Милли — я имею в виду Гармонию Природы — спасена!

И мы втроем вернулись к Сайферу и, так как в ресторане клиентов было мало, взялись за руки и проплясали вокруг Милли танец диких индейцев.

Все это, повторяю, произошло три года тому назад. И приблизительно в то же время на всех нас свалилась удача и позволила нам перейти на более дорогую и менее здоровую пищу, чем у Сайфера. Наши пути разошлись. Крафта я больше ни разу не встречал, с Джадкинсом видался редко.

Но, как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за пять тысяч долларов. Картина называлась «Боадицея»<sup>[15]</sup>, и фигура королевы, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг. Но среди тех, кто стоял перед картиной и восхищался ею, я, вероятно, был единственный, кто хотел бы, чтобы Боадицея вышла из рамы и принесла мне рубленую солонину с яйцом-пашот.

Я торопился встретиться с Крафтом. Его сатанинские глаза остались прежними, волосы взлохматились еще больше, но костюм на нем был от портного.

— Не знал, — сказал я ему.

— На эти деньги мы купили домик в Бронксе, — сказал он. — В любой вечер, в семь часов — ждем.

— Значит, — сказал я, — когда ты вел нас против лесопромышленника — того, с Клондайка, — это было не только ради сохранения Безупречной Гармонии в Природе?

— Пожалуй, не только ради этого, — ответил Крафт, ухмыляясь.

## Воспоминания жёлтого пса

*Перевод под ред. В. Азова.*

Думаю, что вы, люди, не очень-то удивитесь, прочтя литературное упражнение животного. Мистер Киплинг и немало еще других писателей доказали — и не без материальной выгоды для себя, — что животные умеют изъясняться на недурном английском языке; в нынешнее время ни один иллюстрированный журнал не обходится без звериного рассказа, если не считать старинных ежемесячников, которые все еще угощают читателей изображениями Брайана и ужасами катастрофы на горе Пело.

Но не ищите в моем повествовании тех высокопарных фраз, которыми обмениваются в книгах джунглей Нума — лев, Шита — пантера и Хиста — змея. У Желтого Пса, проводшего большую часть своей жизни в дешевой нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке (на той, которую его хозяйка облила портвейном во время банкета в клубе), нельзя ожидать особых фокусов по части слога.

Родился я желтым щенком: время и место рождения, а также и родословная и вес — неизвестны. Первое, что я помню, это старуху, которая стояла на углу Бродвея и Двадцать третьей; она держала корзинку, в которой я лежал, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамблтонского красного ирландского кохинхинского фокстерьера. Толстая дама начала охотиться у себя в ридикюле за пятеркой; наконец, нашла ее в куче образчиков бумазеи и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой — маминым собственным дусиком-песиком. Скажите, любезный читатель, случалось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая двухсотфунтовая особа, пахнущая сыром и под'Эспанем, брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая все время:

— Ути, мой холосенький дусик-пупсик-мусик-кисик-мисик.

Из чистокровного желтого щенка я, выросши, превратился в безымянного желтого пса, похожего на помесь ангорского кота с целым ящиком лимонов. Но моя хозяйка не огорчалась. Она твердо верила, что два первобытных щенка, которых Ной загнал себе в ковчег, являлись лишь боковой ветвью моих предков. Потребовалось вмешательство двух полицейских, чтобы не допустить ее на выставку в Мэдисон-сквер-гарден,

куда она хотела записать меня на приз для сибирских лаек.

Я вам сейчас расскажу про эту самую квартиру. Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было подн... нет, не подняться — вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла ее без мебели и обставила ее как полагается, старинным, тысяча девятьсот третьего года, мягким гарнитуром, олеографией с изображением гейш, заседающих в гарлемской чайной, каучуковым деревом в кадке и мужем.

Клянусь созвездием Пса! Вот жалкое было двуногое! Это был маленький человечек с песочно-желтыми волосами и ушами, сильно смахивавшими на мои. Он был заклеван, как будто все клювы всех туканов, фламинго и пеликанов всего мира щипали его. Он всегда вытирал посуду и выслушивал рассказы моей хозяйки про дешевое и рваное белье, которое развешивала на веревке дама со второго этажа, у которой было, однако, беличье манто. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочке, пока она готовила ужин.

Если бы мужчины знали, как проводят время женщины, когда они одни, они ни за что бы не женились. Романы Лауры Лин Джибби, щелканье орехов, натиранье мускулов шеи миндальным кремом, — причем посуда остается немытой, — получасовая беседа с поставщиком льда, перечитывание связки старых писем, закуска из парочки пикулей и двух бутылок мальц-экстракта, просиживание в течение часа у дырочки, выцарапанной в матовом стекле окна, чтобы посмотреть, что делается в квартире напротив, — пожалуй, вот и все их занятия. За двадцать минут до его прихода со службы они начинают прибирать, поправлять прическу, чтобы не торчала фальшивая подкладка, и вытаскивают ворох шитья — чтобы разыграть десятиминутную комедию.

Собачью я вел жизнь в этой квартире. Большей частью я лежал в моем углу и смотрел, как толстая женщина убивает время. Иногда я спал и видел первоклассные сны о том, как я на дворе гоняюсь за кошками, а те прячутся в подвалы, или ворчу на старых дам с черными митенками, — одним словом, выполняю истинное назначение собаки. Тогда она набрасывалась на меня со всякими сопливыми телячьими нежностями и целовала меня в нос, — но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от нее разило, по крайней мере, за милую?

Я начал жалеть ее мужа (прособажьте всех моих кошек, если вру). Мы были так похожи друг на друга, что это начали замечать люди на улице; и потому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своем

кебе, и предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живет бедный люд.

Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя премированного сенбернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает за исполнением мендельсоновского «Свадебного марша», я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему:

— Ну, чего это ты такой кислый, рак ты вареный? Ведь она тебя не целует. Тебе не приходится сидеть у нее на коленях и выслушивать разговор, по сравнению с которым опереточное либретто покажется равным по мудрости афоризмам Эпиктета. Ты должен радоваться, что ты не собака. Бодрись и забудь тоску.

Матримониальное недоразумение посмотрело на меня вниз с почти собачьим выражением лица.

— Что, собачка? — говорит он. — Хорошая собачка. Ты так смотришь, точно говоришь. В чем дело, песик? В кошках? Кошки, я говорю.

Но, конечно, он понять меня не мог. Людям ведь не дано разговаривать, как это делают животные. Единственная область, где возможно общение между собакой и человеком, — это беллетристика.

В квартире напротив жила дама, у которой был черно-пегий терьер. Каждый вечер ее муж выводил его на цепочке, но он возвращался домой всегда веселый и неизменно что-то насвистывал. Однажды мы с черно-пегим обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения.

— Слушай-ка, Попрыгун, — говорю я ему, — ты знаешь, что ни один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. Я еще ни одного не встречал, который, будучи прикреплен к собачке, не выражал бы всем своим видом желания проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин возвращается каждый раз веселеньким, точно фокусник-любитель, которому удался фокус с яйцом. Откуда это у него берется? Не уверяй меня, что ему нравится.

— У него-то? — говорит черно-пегий. — Он употребляет лучшее средство, указанное самой природой. Насвистывается! Вначале, когда мы выходили, он конфузился и робел. Но после того, как мы обойдем восемь баров, ему уже все равно, что у него на удочке болтается, — собака или морская кошка. У меня эти вращающиеся двери баров отхватили уже дюйма два от кончика хвоста, когда я пробовал проскользнуть через них.

Указание, полученное мною от этого терьера, заставило меня призадуматься.

Однажды вечером, часов около шести, хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести Дусика для принятия обычной порции озона. Да, я до сих пор это скрывал, но вот как она меня прозвала! А черного звали Тютюлькой. Я считаю, что все-таки обогнал его на несколько зайцев. Но все же величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту.

На тихой улице, в укромном месте, перед входом в заманчивый, приличного вида бар, я стал натягивать лесу, на которой болтался мой гувернер. Я ринулся очертя голову к дверям, царапал их и визжал не хуже собаки в отделе происшествий, когда она старается дать понять семье маленькой Алисы, что девочка увязла на топком месте, собирая цветы у ручья.

— Лопни мои глаза! — сказал, широко улыбаясь, муж. — Лопни мои глаза, если этот шафрановый потомок бутылки с лимонадом не приглашает меня войти и выпить стаканчик. Пойдите, да с каких это пор я не подходил вообще к стойке? Я, пожалуй...

Тут уж я понял, что он от меня не уйдет. Он сел за стол и начал пить горячее шотландское виски. Целый час кемпбелли<sup>[16]</sup> так и шли у него друг за дружкой. Я сидел рядом и вызывал лакея, стуча хвостом об пол и поглощая дорогую закуску, с которой отнюдь не могли сравниться яства мамы, покупаемые в гастрономической лавке минут за восемь до прихода папы со службы.

Когда все шотландские продукты, кроме ржаного хлеба, были уничтожены, муж отвязал меня от ножки стола и повел меня к выходу, дергая за сворку, как рыбак, поймавший на удочку лосося. На улице он снял с меня ошейник и выбросил его вон.

— Бедная собачка, — говорит он, — хорошая собачка. Не будет она больше тебя целовать. А то чистый срам! Собачка, милая, беги, попади под трамвай и будь счастлива.

Но я отказался его покинуть. Я начал прыгать и резвиться вокруг него, счастливый и довольный, как щенок на коврике у камина.

— Эх ты, старый, блохастый охотник за воробьями, — сказал я ему, — только ты и умеешь, что выть на луну, да гоняться за зайцами, да яйца воровать, — а не видишь, что я вовсе не хочу уходить от тебя. Разве ты не понимаешь, что мы оба с тобой — заблудившиеся в лесу щенята, а хозяйка — жестокая мачеха, которая хочет нас извести: тебя — вытиранием посуды, а меня — мазью от блох и розовым бантом на хвосте. Почему бы нам не бросить все и не стать навсегда товарищами?

Вы, может быть, будете утверждать, что он не понял. Не стану



спорить. Но горячее шотландское виски ему точно жару поддало, и он остановился на минуту в размышлении.

— Собачка, — наконец сказал он, — мы больше дюжины жизней на земле не проживем, и мало кто из нас достигает трехсотлетнего возраста. Назови меня чертом, если я когда-нибудь вернусь в этот ад; а ты будешь сукиным сыном, если нос туда покажешь. Держу пари на шестьдесят против одного, что Запад выиграет сегодня у Востока на корпус взрослой таксы.

Сворки не было, но я, несмотря на это, добрался, весело прыгая, до парома на Двадцать третьей улице вместе с моим хозяином. И кошки, встречавшиеся нам по дороге, имели полное основание радоваться, что унаследовали от своих первобытных предков острые когти.

Когда мы переехали на пароме на другую сторону, мой хозяин сказал какому-то незнакомцу, который стоял тут же, на вокзале, и ел булку с изюмом:

— Мы с собачкой думаем махнуть в Скалистые горы.

Но больше всего я обрадовался, когда мой гувернер, дернув меня за уши так больно, что я завыл, объявил мне:

— Эх ты, обезьяноголовая, крысохвостая, желтошерстая дворняга, знаешь ли ты, как я отныне буду тебя звать?

Я вспомнил «Дусика» и жалобно завизжал.

— Барбосом буду тебя звать, — сказал мой хозяин; и я пожалел, что у меня не пять хвостов и я не могу достаточно намахаться, чтобы достойно отметить это нововведение.

# Приворотное зелье Айки Шонштейна

*Перевод Н. Дехтеревой.*

Аптекарский магазин «Синий свет» находится в деловой части города — между Бауэри-стрит и Первой авеню, — там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое с содовой. Если вы спросите там болеутоляющее, вам не подsunут конфетку.

«Синий свет» презирует современное, сберегающее усилия искусство фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и парегорик. По сей день пилули тут изготавливают собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке — дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальцев, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают взапуски и становятся кандидатами на таблетки от кашля и смягчительные сиропы, поджидающие их в «Синем свете».

Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Ист-Сайде, где сердце фармацевтики еще не стало *glace*<sup>[17]</sup>.

Там аптекарь, как оно и следует быть, — советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. Оттого-то повисший крючком и оседланный очками нос и тощая, согбенная под бременем познаний фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях «Синего света» и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились.

Айки проживал и завтракал у миссис Ридл, в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Роза. Скажем без обиняков — вы ведь, конечно, и сами догадались, — Айки боготворил Розу. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их; она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной — во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок — застенчивость и

нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность.

Стоя за конторкой, он являл собою существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки это был тщедушный, нескладный, подслеповатый, прокливаемый шоферами ротозей — в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем socotrine aloes<sup>[18]</sup> и valerianate ammoniae<sup>[19]</sup>.

Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна (вполне, вполне уместный каламбур!) был Чанк Мак-Гоуэн.

Мистер Мак-Гоуэн также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то Мак-Гоуэн ловил их прямо с ракетки! Вместе с тем Мак-Гоуэн был и другом и клиентом Айки и частенько, после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит, заглядывал в «Синий свет», чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез.

Как-то раз к вечеру Мак-Гоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку — ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень — и уселся на табурет.

— Айки, — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок gum bensoin<sup>[20]</sup>, — раскрой-ка уши пошире. Выдай мне зелье такое, какое мне требуется.

Айки внимательно оглядел внешность мистера Мак-Гоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил.

— Снимай пиджак, — приказал он. — Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра. Сколько раз говорил я тебе — итальяшки до тебя доберутся.

Мак-Гоуэн усмехнулся:

— Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил — верно, это под пиджаком, возле ребер. Слушай, Айки, мы — я и Рози — решили нынче ночью удрать и пожениться.

Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал. А на лице мистера Мак-Гоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности.

— То есть, понятно, если она в последнюю минуту не передумает, — продолжал он. — Мы вот уже две недели утаптываем дорожку, чтобы дать деру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру стоп — нет, говорит, не выйдет. Теперь вот как будто вконец порешили на сегодняшнюю ночь. Рози уже два дня держится, вроде бы не отступает. Но, понимаешь ли, до

того срока, на какой мы уговорились, еще целых пять часов — боюсь, в последний момент, когда уже все будет на мази, она опять даст отбой.

— Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство, — напомнил Айки.

На лице мистера Мак-Гоуэна отразились смущение и тревога — отнюдь не обычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью надел его себе на палец.

— Понимаешь, я и за миллион не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт, — сказал он. — В Гарлеме у меня уже снята квартирка — хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. И я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в девять тридцать. Ну, просто нельзя, чтоб все это сорвалось. Если Роза снова не пойдет на попятную...

Мистер Мак-Гоуэн умолк, весь во власти сомнений.

— Я пока еще не усматриваю связи, — сказал Айки отрывисто. — О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?

— Старик Ридл меня не жалуется, то есть ни вот столько, — продолжал озабоченный претендент на руку Розы, желая высказать свои соображения до конца. — Уже целую неделю он не выпускает Розы со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю двадцать долларов в неделю, Роза никогда не раскается, что сбежала с Чанком Мак-Гоуэном.

— Извини, Чанк, — сказал Айки, — мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту, за ним должны скоро зайти.

— Слушай, — вдруг вскинул на него глаза Мак-Гоуэн, — слушай, Айки, нет ли какого-нибудь такого зелья — ну, понимаешь, каких-нибудь там порошков, чтоб, если дать их девушке, она полюбила тебя крепче, а?

Верхняя губа Айки презрительно и высокомерно искривилась: он понял. Но прежде, чем он успел ответить, Мак-Гоуэн продолжал:

— Тим Лейси рассказывал, что как-то раздобыл у одной старухи гадалки такой вот порошок, развел в содовой и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером, все остальные уже и в счет не шли. Двух недель не прошло, как они окрутились.

Сила и простота — таков был Чанк Мак-Гоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи.

— Я подумал вот что, — продолжал Чанк с надеждой в голосе, — будь

у меня такой порошок, я б подсыпал его Розе сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как всегда, отнекиваться. Я, само собой, не считаю, что ее надо силком, на поводу тянуть, но женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит.

— На когда назначен этот дурацкий побег? — спросил Айки.

— На девять часов, — ответил мистер Мак-Гоуэн. — Ужин в семь. В восемь Роза прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в девять старик Парвенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Попроюсь к окну Розы, помогу ей спуститься по пожарной лестнице. Затеяли все так рано из-за священника, он потребовал. Да все проще простого, только бы Роза не отступила, когда придет момент. Ну как насчет порошков, можешь ты мне это устроить, Айки?

Айки Шонштейн медленно потер себе нос.

— Слушай, Чанк, — сказал он. — Относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сделаю это для тебя — ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Роза.

Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок две таблетки морфия, каждая в четверть грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик Мак-Гоуэну, дав при этом указания, что порошок желательно принять растворенным в жидкости. И получил за то изъявления сердечной благодарности от Локинвара<sup>[21]</sup> с городских задворков.

Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы Мак-Гоуэна относительно похищения Розы. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках.

— Весьма обязан, — сказал он отрывисто. — Нахальный лоботряс! Моя комната как раз над комнатой Розы. После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выедет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи.

Роза в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению.

Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало.

В восемь часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто как не сам Чанк Мак-Гоуэн выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватается Айки за руку — да-да, Чанк Мак-Гоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом.

— Вышло, — проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум. — Роза на лестницу вылезла точно, секунда в секунду. В девять тридцать с хвостиком мы уже были у почтенного духовника — все как договаривались. Она уже в нашей квартирке — сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно. Бог ты мой, до чего же я рад, ей-богу! Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь, отобедаем вместе. Я получил работу тут неподалеку, у моста. Туда я сейчас и двигаю.

— А... а порошок? — спросил Айки, заикаясь.

— То зелье, которое ты мне выдал? — Улыбка Чанка стала еще шире. — Оно вот как все обернулось. За ужином у Ридлов поглядел я на Розу и сказал про себя: «Чанк, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Роза, — действуй честно, без всяких фокусов». Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого — на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Улучил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла — понятно?

## Золото и любовь

*Перевод Н. Дарузес.*

Старик Энтони Рокволл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло «Эврика», выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Дж. ван Шуйлайт Саффолк-Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палаццо, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского Возрождения.

— Ведь просто старое чучело банкрота, а сколько спеси! — заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье, замороженный Нессельроде, а не то скоро попадет в Эдемский музей. Вот на будущее лето размалюю весь фасад красными, белыми и синими полосами — погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос.

И тут Энтони Рокволл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал: «Майк!» тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями.

— Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне перед уходом из дому, — приказал он явившемуся на зов слуге.

Когда молодой Рокволл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане.

— Ричард, почему ты платишь за мыло, которым моешься? — спросил Энтони Рокволл.

Ричард, всего полгода назад вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего папашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу.

— Кажется, шесть долларов за дюжину, папа.

— А за костюм?

— Обыкновенно долларов шестьдесят.

— Ты джентльмен, — решительно изрек Энтони. — Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по двадцать четыре доллара за мыло и больше чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно.

Сам я моюсь старой «Эврикой» — не только по привычке, но и потому, что это мыло лучше других. Если ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. А пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты — джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было. А теперь с деньгами оно получается куда легче и скорей. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу! Я ничем не хуже моих соседей — так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними.

— Есть вещи, которых не купишь за деньги, — довольно мрачно заметил молодой Рокволл.

— Нет, ты этого не говори, — возразил обиженный Энтони. — Я всегда стою за деньги. Я прочел всю энциклопедию насквозь: все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги; так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги?

— Прежде всего, они не могут ввести вас в высший свет, — ответил уязвленный Ричард.

— Ого! неужто не могут? — прогремел защитник корней зла. — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе?

Ричард вздохнул.

— Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю. Ну, выкладывай начистоту. Я в двадцать четыре часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости. Если у тебя печень не в порядке, так «Бродяга» стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на Багамские острова.

— Почти угадали, папа. Это очень близко к истине.

— Ага, так как же ее зовут? — проницательно заметил Энтони.

Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына.

— Почему ты не делаешь предложения? — спросил старик-Энтони. — Она будет рада-радехонька. У тебя и деньги и красивая наружность, ты славный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом «Эврика».



Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит.

— Все случая не было, — вздохнул Ричард.

— Устрой так, чтоб был, — сказал Энтони. — Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! Тьфу!

— Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час, каждая минута ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа: без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу — просто не в состоянии.

— Ну, вот еще! — сказал старик. — Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени?

— Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. — Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на Центральном вокзале, к поезду восемь тридцать. Мы проедем галопом по Бродвею до театра Уоллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой! Нет, папа, это не так просто, ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет никакой надежды поговорить с мисс Лэнтри до ее отъезда.

— Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони. — Ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Маммона. Ты говоришь, деньги не могут купить времени? Ну, разумеется, нельзя заказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам.

В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством, и, вздыхая, завела речь о страданиях влюбленных.

— Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братец Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут. Будто бы светский

этикет не спихнуть с места даже целой упряжке миллионеров.

— Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллен. — Напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна. Если б он только объяснился раньше! Она бы не смогла отказать нашему Ричарду. А теперь, я боюсь, уже поздно. У него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику.

На следующий вечер ровно в восемь часов тетя Эллен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молью, и вручила его племяннику.

— Надень его сегодня, Ричард, — попросила она. — Твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую.

Молодой Рокволл принял кольцо с благоговением и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард сиял его и засунул в жилетный карман, по свойственной мужчинам привычке. А потом вызвал по телефону кэб.

В восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале.

— Нам нельзя задерживать маму и остальных, — сказал она.

— К театру Уоллока, как можно скорей! — честно передал кэбмену Ричард.

С Сорок второй улицы они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов Запада к скалистым утесам Востока.

Не доезжая Тридцать четвертой улицы Ричард быстро поднял окошечко и приказал кэбмену остановиться.

— Я уронил кольцо, — сказал он в извинение. — Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не задержу вас, — я видел, куда оно упало.

Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом.

Но за эту минуту перед самым кэбом остановился поперек дороги вагон трамвая. Кэбмен хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь. Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел было повернуть назад — и только выругался, выпустив из рук вожжи. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей.

Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно

неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе.

— Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. — Мы опоздаем.

Ричард встал в кэбе и оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кэбов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей, заполнял так тесно, как девушка с талией в двадцать шесть дюймов заполняет двадцатидвухдюймовый пояс. И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских старожилов, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров.

— Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я. Если бы я не выронил кольца...

— Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лэнтри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр это, по моему, такая скука.

В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла.

— Войдите! — крикнул Энтони, который читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат.

Это была тетя Эллен, похожая на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле.

— Они обручились, Энтони, — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду. По дороге в театр они попали в уличную пробку и целых два часа не могли двинуться с места.

И знаешь-ли, братец Энтони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег. Маленькая эмблема истинной любви, колечко, знаменующее собой бесконечную и бескорыстную преданность, помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из кэба, чтобы поднять его. Но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока кэб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони.

— Ну ладно, — ответил старик. — Я очень рад, что наш мальчик добился своего. Говорил же я ему, что никаких денег не пожалею на это дело, если...

— Но чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони?

— Сестра, — сказал Энтони Рокволл. — У меня пират попал черт знает в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дай ты мне ради бога дочитать главу.

На этом рассказ должен бы закончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной.

На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом к Энтони Рокволлу и был немедленно допущен в библиотеку.

— Ну что же, — сказал Энтони, доставая чековую книжку, — неплохо сварили мыло. Посмотрим, — вам было выдано пять тысяч?

— Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кэбы я нанимал по пяти долларов; подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать. Всего дороже обошлись полицейские — двоим я заплатил по полсотне, а прочим по двадцать и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Рокволл? Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции! Ребята были на месте секунда в секунду. И целых два часа ниже памятника Грили даже пальца негде было просунуть.

— Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Ваша тысяча да те триста, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли?

— Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность.

Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.

— Вы не заметили там где-нибудь в толпе такого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он.

— Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. — Если он был такой, как вы говорите, так, верно, полиция забрала его еще до меня.

— Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!

## Весна порционно

*Перевод Н. Дехтеревой.*

Был месяц март.

Никогда-никогда, если вздумаете писать рассказ, не начинайте его таким образом. Худшего начала не придумаешь. Плоско, сухо, ни на йоту воображения. Ровным счетом ничего. Но в данном случае оно допустимо. Ибо следующий абзац, которым, собственно, и надлежало бы предварить повествование, настолько экстравагантен и нелеп, что его нельзя так вот сразу бросить в лицо читателю.

Сара плакала над прейскурантом ресторана.

Вы только представьте себе — юная жительница Нью-Йорка проливает слезы над ресторанным меню!

В объяснение такой сцены вы располагаете возможностью строить любые догадки: омаров уже нет, кончились; она дала зарок весь пост не есть мороженого; заказала сырой лук; или же только что вернулась с утренника в театре Хэккета. А затем, поскольку все эти версии не соответствуют истине, разрешите мне продолжить рассказ.

Джентльмен, заявивший, что земной шар — устрица, которую он вскроет мечом<sup>[22]</sup>, пользуется большей славой, чем того заслуживает. Вскрыть устрицу мечом не такая уж хитрость. А приходилось ли вам видеть, чтобы кто-нибудь пытался вскрыть это сухопутное двустворчатое с помощью пищащей машинки? Хватило бы у вас терпения ждать, пока их таким способом вскроют дюжину?

Действуя этим неудобным орудием, Саре кое-как удавалось приоткрывать тугие створки неподатливой устрицы, чтобы добраться до ее холодного, вязкого содержимого. Стенографию Сара знала не лучше тех, кто изучал эту науку на Коммерческих курсах и только что выпущен упомянутым учебным заведением в широкий мир. И потому, не обладая этим умением, она не могла войти в яркое созвездие талантов в высокой учрежденческой сфере. Ей оставалось взять свободную профессию машинистки-одиночки и рыскать в поисках случайной работы по переписке.

Самым блестящим, самым великим ее триумфом оказался устный контракт с Шуленбергом, владельцем ресторана «Домашний стол». Ресторан находился бок о бок со старым неоштукатуренным кирпичным

домом, где Сара снимала отгороженный конец коридора, именуемый «комнатой на одного». Как-то раз после трапезы за табльдотом у Шуленберга (сорок центов за обед из пяти блюд) Сара унесла с собой меню. Оно было написано совершенно неразборчивым почерком — то ли по-немецки, то ли по-английски, и строчки располагались так, что, если не проявить должного внимания, вы рисковали начать обед с зубочистки и рисового пудинга, а закончить его супом и названием дня недели.

На следующий день Сара показала Шуленбергу аккуратный листок, на котором было безупречно отпечатано меню, где яства соблазнительно выстроились под надлежащими заголовками, начиная от *hors d'oeuvre*<sup>[23]</sup> и до «за сохранность пальто и зонтов ресторан не отвечает».

Шуленберг был приобщен к цивилизации в мгновение ока. Прежде чем Сара покинула ресторан, его владелец с полной готовностью заключил с ней соглашение. Она обязывалась поставлять отпечатанные на машинке меню для двадцати одного столика — к обеду каждый день новые, для первого и второго завтрака — всякий раз, как блюда менялись или же листки утрачивали свою первоначальную свежесть.

Шуленберг, со своей стороны, должен был посылать ей с официантом — по возможности любезным — еду трижды *per diem*<sup>[24]</sup> и заранее вручать ей карандашный черновик того, что судьба припасла клиентам Шуленберга на завтра.

Обе стороны оказались полностью удовлетворены соглашением. Посетители ресторана «Домашний стол» знали теперь названия подаваемых блюд, если даже порой становились в тупик, пытаясь разобраться в их субстанции. А Сара в течение всей холодной, унылой зимы была обеспечена питанием, что для нее было самое главное.

Однажды календарь солгал, он заявил, что наступила весна. Но весна наступает тогда, когда она действительно наступает. А в переулках еще лежали смерзшиеся и сверкающие, как алмаз, январские снега. Шарманки продолжали наигрывать «Веселое летнее времечко» с декабрьским пылом и экспрессией. Многие предусмотрительные люди получили месячную рассрочку на покупку пасхальных обновок. В доходных домах отключили отопление. А когда все это происходит, каждому ясно, что город еще в цепких когтях зимы.

Как-то под вечер Сара сидела дрожа в своей элегантной «комнате на одного» («паровое отопление; безупречная чистота; все удобства; убедитесь лично»). У Сары не было никакой работы, кроме шуленберговских меню. Она сидела в своей скрипучей плетеной качалке и глядела в окно.

Календарь на стене кричал ей не переставая: «Сара, пришла весна! Говорю тебе: уже весна, весна! Ты только взгляни на меня, на мои милые, весенние числа! Между прочим, ты и сама очень мила, и в тебе тоже есть что-то весеннее. Что же ты глядишь в окно так печально?»

Окно выходило во двор, и прямо перед ним высилась глухая кирпичная стена картонажной фабрики. Но для Сары стена была прозрачна, как хрусталь, и сквозь него она видела деревенский проулок, заросший травкой, затененный вишневыми деревьями и вязами, обсаженный кустами малины и китайской розы.

Подлинные вестники Весны трудно уловимы глазом или ухом. Для одних это расцветший крокус, или усыпанное желтыми цветочками деревце кизила, этого лесного красавца, или же первые ноты певчей птицы. А другим требуется такой грубый намек, как прощание с устрицами и гречневой кашей, чтобы их тусклые души осознали приближение Леди в Зеленом Наряде. Но до истинного избранника, детища матери-природы, ее нежные послания доходят мгновенно, заверяя его, что он не станет ее пасынком, если только сам того не пожелает.

Прошлым летом Сара жила в деревне и полюбила фермера.

(Запомните: будете писать рассказ, никогда не тяните его вот так вспять. Это гасит интерес читателя. Рассказ должен двигаться вперед, вперед!)

Сара пробыла на ферме «Солнечный ручей» две недели. И за это время полюбила Уолтера, сына старого фермера Франклина. В фермеров влюблялись, женили их на себе и отпускали обратно на родные пастбища и за более краткий срок. Но юный Уолтер Франклин был земледельцем современного образца. У него был телефон в коровнике, и он мог с точностью определить, как повлияет урожай пшеницы в Канаде в будущем году на картофель, посаженный неведомо когда.

В этом тенистом, заросшем малиной проулке Уолтер ухаживал за ней и покориł ее сердце. И они сели рядышком, вместе сплели венок из одуванчиков и увенчали им голову Сары.

Уолтер безмерно восхищался эффектным сочетанием желтых цветов с ее темными косами. Она так и вернулась на ферму в этом золотом венце, вертя в руках свою соломенную шляпу.

Они уговорились пожениться весной — в самом начале весны, уточнил Уолтер. И Сара вернулась в город выбивать дробь на своей машинке.

Стук в дверь развеял видения того счастливого дня. Официант принес испещренный угловатыми знаками Шуленберга черновой карандашный

набросок завтрашнего меню.

Сара села за машинку и вставила в валик чистый листок. Она работала проворно. Обычно за полтора часа все листки до одного бывали готовы.

Сегодня изменений в прейскуранте оказалось больше обычного. Супы легче; свинина из холодных мясных блюд изъята, фигурирует лишь среди жарких (с гарниром из русской репы). Весь список яств был овеян свежим весенним дыханием. Барашек, только что резвившийся на зазеленевших холмах, подвергся эксперименту под соусом из молодой зелени, как бы послужившим памятником его резвым прыжкам. Пение устрицы если и не вовсе умолкло, звучало *diminuendo con amore*<sup>[25]</sup>. Сковорода, уже ненужная, удалась на покой, уступив место рашперу. Список паштетов удлинился; сдобные пудинги исчезли; сосиски в своих тестяных одеяльцах и гречневая каша замирали в приятной летаргии. А среди сладких блюд сироп из кленового сахара был, можно сказать, обречен.

Пальцы Сары плясали, как мошкара над летним ручьем. Она отстукивала строку за строкой, зорко следя, чтобы каждое слово получало место, соответствующее его длине и содержанию.

Как раз перед десертом шел список овощных блюд. Морковь, зеленый горошек, гренки со спаржей, извечные помидоры, кукуруза, бобы, капуста и...

Сара плакала над прейскурантом ресторана. Слезы, скопившиеся в глубинах отчаяния, заполнили ей сердце и устремились к глазам. Голова ее опустилась на машинку, и каретка задребезжала сухим аккомпанементом к ее влажным рыданиям.

Дело в том, что вот уже две недели, как от Уолтера не было писем, а в меню после капусты упоминались одуванчики — одуванчики с каким-то там соком... Одуванчики с их золотыми цветами, которыми Уолтер короновал свою королеву сердца и невесту, — одуванчики, вестники весны и горестный венец ее горестей — напоминание о счастливейших днях!

Не думаю, сударыня, что вы бы улыбались, если бы вас подвергли такому испытанию — если бы те чайные розы, которые ваш Перси преподнес вам в тот вечер, когда вы подарили ему свое сердце, полили бы французским соусом и поставили перед вами за табльдотом у Шуленберга. Если бы Джульетта увидела, что знакам ее любви нанесено подобное оскорбление, она бы еще раньше обратилась к доброму аптекарю за травами, дарующими вечный покой.

Но какая она кудесница, эта Весна! Ей нужно было послать весть о себе в огромный, холодный, одетый в камень и металл город, и она сумела найти посланца — маленького, скромного обитателя полей в простеньком



зеленом плаще. Да, он истинный слуга судьбы, этот одуванчик! В пору своего цветения помогает влюбленным, вплетаясь в венок для девы с каштановыми волосами; юный и упругий, еще не расцветший, попадает на кухню и таким образом вручает адресату послание от своей всемогущей госпожи.

Понемногу Сара справилась со слезами: надо было печатать меню. Все еще озаренная слабым золотистым блеском одуванчиковой мечты, она рассеянно нажимала на клавиши, а мысли ее и чувства продолжали бродить в зеленом проулке близ фермы «Солнечный ручей». Но вскоре она поспешила вернуться к каменным колодцам Манхэттена, и машинка начала тархтеть и подпрыгивать, как грузовик штрейкбрехера.

В шесть часов официант принес ей обед и унес отпечатанные меню. За обедом Сара со вздохом отставила в сторону салат из одуванчиков. Как яркие цветы превратились в недостойную снедь, в унылую, темноватую массу, так завяли и погибли мечты Сары. Допустим, что любовь, как сказал Шекспир, питается сама собой. Но Сара не могла принудить себя съесть одуванчики, украсившие, как драгоценности, ее первый праздник истинной сердечной любви.

В половине восьмого пара в соседней комнате затеяла ссору. Жилец в комнате этажом выше пытался извлечь ля из своей флейты. Газ в рожке еще поубавился. Во дворе стали разгружать один за другим три угольных фургона — единственная звуковая симфония, которой может позавидовать граммофон. Кошки на заборе медленно отступили к Мукдену<sup>[26]</sup>.

Все это служило Саре сигналом, что пора приняться за чтение. Она взяла «Монастырь и очаг»<sup>[27]</sup> — книгу, побившую в этом месяце рекорд по отсутствию спроса, — поставила ноги на сундучок и пустилась в странствие вместе с Жераром.

У входной двери раздался звонок. Хозяйка пошла открывать. Сара оставила Жерара и Дени загнанными медведем на дерево и прислушалась. Да-да, вы сделали бы то же самое. И она услышала громкий голос внизу лестницы. Сара вскочила, книга упала на пол — первый раунд Жерара с медведем явно закончился в пользу последнего.

Вы угадали. Она успела добежать до площадки как раз в ту минуту, когда молодой фермер, вихрем взлетев по ступеням, сжал и убрал ее в житницу всю без остатка, не потеряв ни единого драгоценного колоска.

— Почему ты не писал, ну почему? — воскликнула Сара.

— Нью-Йорк — городок довольно вместительный, — ответил Уолтер Франклин. — Я приехал неделю тому назад, пошел по твоему старому

адресу. Сказали, что ты выехала в прошлый четверг. Ну, думаю, хорошо еще, что хоть не в пятницу — не сулит неудачи. Но все же целую неделю за тобой охотился, и полицию пришлось брать в подмогу.

— Но я же тебе все написала! — сказала Сара с горячностью.

— Да, но письма-то я не успел получить.

— Как же ты все-таки меня разыскал?

Уолтер улыбнулся весенней улыбкой.

— Зашел сегодня поесть тут рядом, в ресторан «Домашний стол», — сказал он. — Пусть думают, что хотят, но в это время года мне еда не еда без свежей зелени. Я проглядел их меню, так славно отпечатанное на машинке, поискал чего-нибудь подходящего. Когда я увидел то, что напечатано после «Капуста красная», я опрокинул стул и стал во все горло звать хозяина. Он сказал мне, где ты живешь.

— Да, помню, — проговорила Сара с радостным вздохом. — За капустой шли одуванчики, одуванчики с лимонным соком.

— Это кривое заглавное «М» у твоей машинки я где хочешь узнаю, — сказал Уолтер.

— Но в слове «одуванчики» нет заглавного «М»! — воскликнула Сара недоумевающе.

Молодой человек извлек из кармана листок и указал на одну из напечатанных на нем строчек.

Сара сразу же узнала тот первый экземпляр меню, который печатала днем. В правом верхнем углу его заметно было слабое расплывшееся пятнышко от оброненной слезы. Но на том месте, где следовало бы прочесть название блюда из полевого цветка, неотступное воспоминание о золотистом венке заставило ее пальцы отстукать странные буквы.

Между «Капустой красной» и «Зеленым фаршированным перцем» стояло:

***МИЛЫЙ УОЛТЕР С ЛИМОННЫМ СОКОМ.***

# Зелёная дверь

*Перевод Н. Дехтеревой.*

Вообразите, что после обеда вы шагаете по Бродвею и на протяжении десяти минут, потребных на то, чтобы выкурить сигару, обдумываете выбор между забавной трагедией или чем-нибудь серьезным в жанре водевиля. И вдруг вашего плеча касается чья-то рука. Вы оборачиваетесь, и перед вами дивные глаза обворожительной красавицы в бриллиантах и русских соболях. Она поспешно сует вам в руку невероятно горячую булочку с маслом и, сверкнув парой крохотных ножниц, в один миг отхватывает ими верхнюю пуговицу на вашем пальто. Затем многозначительно произносит одно лишь слово: «параллелограмм!» — и, боязливо оглядываясь, скрывается в переулке.

Вот все это и есть настоящее приключение. Вы бы на это откликнулись? Вы — нет. Вы бы залились краской смущения, конфузливо уронили булочку и зашагали бы дальше, неуверенно шаря рукой по тому месту на пальто, откуда только что исчезла пуговица. Именно так вы и поступили бы, если только не принадлежите к тем немногим счастливым, в которых еще не умерла живая жажда приключений.

Истинные искатели приключений всегда были наперечет. Те, которых увековечило печатное слово, были большей частью лишь трезвые, деловые люди, действовавшие новоизобретенными методами. Они стремились к тому, что им требовалось: золотое руно, чаша святого Грааля, любовь дамы сердца, сокровища, корона или слава. Подлинный искатель приключений с готовностью идет навстречу неведомой судьбе, не задаваясь никакой целью, без малейшего расчета. Отличным примером может послужить Блудный сын — когда он повернул обратно к дому.

Псевдоискатели приключений — хотя личности яркие, отважные, — крестоносцы, венценосцы, меченосцы и прочие — водились во множестве, обогащая историю, литературу и издателей исторических романов. Но каждый из них ждал награды: получить приз, забить гол, посрамить соперника, победить в состязании, создать себе имя, свести с кем-либо счеты, нажать состояние. Так что их нельзя отнести к категории истинных искателей приключений.

В нашем большом городе духи-близнецы — Романтика и Приключение — всегда наготове, всегда в поисках своих достойных

почитателей. Когда мы бредем по улице, они тайком поглядывают на нас, заманивают, прикрываясь десятками различных масок. Неведомо почему, мы вдруг вскидываем глаза и видим в чужом окне лицо, явно принадлежащее к нашей портретной галерее самых близких людей. В тихой, сонной улочке из-за наглухо закрытых ставен пустого дома мы ясно слышим отчаянный крик боли и страха. Кебмен, вместо того чтобы подвести вас к привычному подъезду, останавливает свой экипаж перед незнакомой вам дверью, и она приветливо открывается, как бы приглашая вас войти. Из высокого решетчатого окна Случая к вашим ногам падает исписанный листок. В спешащей уличной толпе мы обмениваемся взглядами мгновенно вспыхнувшей ненависти, симпатии или страха с совершенно чужими нам людьми. Внезапный ливень — и, быть может, ваш зонт укроет дочь Полной Луны и кузину Звездной Системы. На каждом углу падают оброненные платки, манят пальцы, умоляют глаза, и вот уже в руки вам суют отрывочные, непонятные, таинственные, восхитительные и опасные нити, которые тянут вас к приключению. Но мало кто из нас захочет удержать их, пойти туда, куда они поведут. Наша спина, вечно подпираемая железным каркасом условностей, давно заостенела. Мы проходим мимо. И когда-нибудь на склоне нашей унылой, однообразной жизни мы подумаем о том, что Романтика в ней особой яркостью не отличалась — одна-две женитьбы, атласная розетка, запрятанная на дно ящика, да извечная непримиримая вражда с радиатором парового отопления.

Рудольф Штейнер был истинным искателем приключений. Редкий вечер не выходил он из своей «комнаты на одного» в поисках неожиданного, необычного. Ему всегда казалось, что самое интересное, что только дает жизнь, поджидает его, быть может, за ближайшим углом. Порой желание испытать судьбу заводило его на странные тропы. Дважды он провел ночь в полицейском участке. Вновь и вновь становился жертвой плутов, облегчавших его карманы. За лестное дамское внимание ему пришлось расплатиться и кошельком и часами. Но с неослабевающим пылом поднимал он каждую перчатку, брошенную ему на веселой арене Приключения.

Однажды вечером Рудольф прогуливался в старой центральной части города. По тротуару текли людские потоки — одни спешили к домашнему очагу, другие — беспокойный народ! — покинули его ради сомнительного уюта тысячесвечного табльдота.

Молодой и приятной внешности искатель приключений был в ясном расположении духа, но преисполнен ожидания. Днем он служил продавцом

в магазине роялей. Галстук он не закреплял булавкой, а пропускал его концы сквозь кольцо с топазом. И однажды он написал издателю некоего журнала, что из всех прочтенных им книг самое сильное влияние на его жизнь оказал роман «Испытания любви Джуни», сочинение мисс Либби<sup>[28]</sup>.

Громкое лязганье зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило было его (не без внутреннего трепета) обратить внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен, но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески дантиста. Стоя подле двери, ведущей к дантисту, огромного роста негр в фантастическом наряде — красный, расшитый галунами фрак, желтые брюки и военное кепи — осторожно вручал какие-то листки тем из прохожих, кто соглашался их принять.

Этот вид зубоврачебной рекламы был для Рудольфа знакомым зрелищем. Обычно он проходил мимо, игнорируя визитные карточки дантистов. Но в этот раз африканец так проворно сунул ему в руки листок, что Рудольф не выбросил его и даже улыбнулся тому, как ловко это было сделано.

Пройдя несколько шагов, Рудольф равнодушно глянул на листок. Удивленный, он перевернул его и потом снова рассмотрел, уже с интересом. Одна сторона листка была чистая, на другой чернилами было написано: «Зеленая дверь». И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий выбросил на ходу листок, также врученный ему негром. Рудольф поднял листок, посмотрел: фамилия и адрес дантиста с обычным перечнем — «протезы», «мосты», «коронки» и красноречивые посулы «безболезненного удаления».

Адепт Великого Духа Приключений и продавец роялей остановился на углу и задумался. Затем перешел на противоположную сторону улицы, отшагал квартал в обратном направлении, вернулся на прежнюю сторону и слился с толпой, движущейся туда, где сияла электрическая вывеска дантиста. Проходя вторично мимо негра и делая вид, что не замечает его, Рудольф небрежно принял листок, снова предложенный ему. Шагов через десять он осмотрел новый листок. Тем же самым почерком, что и на первом, на нем было выведено: «Зеленая дверь». Поблизости на тротуаре валялись три подобных же листка, брошенных шагавшими впереди или позади Рудольфа — все листки упали чистой стороной вверх. Он поднял их и осмотрел. На всех он прочел соблазнительные приглашения зубоврачебного кабинета.

Быстрому, резвому Духу Приключений редко приходилось манить Рудольфа Штейнера, своего верного почитателя, дважды, — но на этот раз

призыв был повторен, и рыцарь поднял перчатку.

Рудольф опять повернул назад, медленно прошел мимо стеклянного ящика с лязгающими зубами и негра-гиганта. Но листка он не получил. Несмотря на нелепый, пестрый наряд, негр держался с достоинством, присущим его сородичам, вежливо предлагая карточки одним, других оставляя в покое. Время от времени он выкрикивал что-то громкое и невразумительное, сходное с возгласами трамвайных кондукторов, объявляющих остановки, или с оперным пением. Но он не только оставил Рудольфа без внимания — молодому человеку даже показалось, что широкое, лоснящееся лицо африканца выражало холодное, почти уничтожающее презрение.

Взгляд негра словно ужалил Рудольфа. Его сочли недостойным! Что бы ни означали таинственные слова на листке, чернокожий дважды избрал его среди толпы. А теперь, казалось, осудил как слишком ничтожного умом и духом, чтобы его можно было привлечь загадкой. Встав в стороне от толпы, молодой человек быстрым взглядом окинул здание, в котором, как он решил, скрывалась разгадка тайны. Дом поднимался на высоту пяти этажей. Его полуподвальный этаж занимал небольшой ресторан.

На первом этаже, где все было на запоре, по-видимому, продавались шляпки или меха. На втором, судя по мигающим электрическим буквам, расположился дантист. На следующем этаже царило вавилонское многоязычие вывесок: гадалки, портнихи, музыканты и врачи. Еще выше задернутые занавески на окнах и белевшие на подоконниках молочные бутылки заверяли, что здесь область домашних очагов.

Завершив обзор, Рудольф взлетел по крутым каменным ступеням, ведущим в дом. Быстро поднявшись по крытым ковром лестницам до третьего этажа, он остановился. Здесь площадка еле освещалась двумя бледными газовыми рожками. Один мерцал где-то далеко в коридоре направо; другой, поближе, — налево. Рудольф глянул влево и в слабом свете рожка увидел зеленую дверь. Мгновение он колебался. Но тут же вспомнил оскорбительную насмешку на лице африканского жонглера карточками и, не раздумывая более, шагнул прямо к зеленой двери и постучал.

Секунды, подобные тем, что последовали за его стуком, соразмерны быстрому дыханию истинного приключения. Только подумать, что может ожидать его по ту сторону! Игроки за карточным столом; хитрые пройдохи, с тонким расчетом раскладывающие приманки в свои западни; красавица, превыше всего ценящая отвагу и решившая покориться только смельчаку. Опасность, смерть, любовь, разочарование, насмешки — все может быть

ответом на этот безрассудный стук.

Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая и двадцати лет, — она была бледна, еле держалась на ногах. И вдруг выпустила дверную ручку, покачнулась, попыталась найти опору, шаря рукой в воздухе, — Рудольф успел подхватить ее и уложил на кушетку с полинялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл и при еле мерцающем свете газового рожка быстро оглядел комнату. Чисто, опрятно, но все говорило о самой крайней нужде.

Девушка лежала неподвижно, очевидно, в обмороке. Рудольф озабоченно оглядел комнату в поисках бочки, на которой он мог бы... нет-нет, не то, это если кто утонет... Он принялся обмахивать девушку своей шляпой. Это дало желанный эффект — он задел ее по носу полями своего котелка, и она открыла глаза. И тут наш молодой человек увидел, что ее лицо, несомненно, и есть недостающий портрет из его сердечной галереи самых близких. Честные серые глаза, задорный, вздернутый носик, каштановые волосы, вьющиеся, как усики душистого горошка, — все это было правильным заключительным аккордом и венцом всех его удивительных приключений. Но какое же это было худое и бледное личико!

Она взглянула на него спокойно, потом улыбнулась.

— У меня был обморок, да? — проговорила она слабым голосом. — Хотя с кем могло случиться, будь он на моем месте. Попробуйте не есть три дня, сами убедитесь.

— Himmel!<sup>[29]</sup> — воскликнул Рудольф, вскакивая с места. — Ждите меня, я вернусь мигом!

Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже снова стоял у зеленой двери, стуча в нее ногой: в руках у него была охалка снеди из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол — хлеб, масло, холодное вареное мясо, пирожные, паштет, маслины, устрицы, жареного цыпленка, одну бутылку с молоком и одну с чаем, горячим, как огонь.

— Смешно, нелепо устраивать голодовки, — заговорил Рудольф громко, с нарочитой строгостью. — Раз и навсегда прекратите такого рода пари. Ужин готов.

Он помог ей сесть за стол и спросил:

— Чашка для чая имеется?

— На полке у окна.

Когда Рудольф вернулся с чашкой, девушка, блестя глазами, уже принялась за крупную маслину, которую успела извлечь из пакета, с

безошибочным женским инстинктом угадав его содержимое.

Рудольф, смеясь, отобрал маслину и налил полную чашку молока.

— Сперва выпейте это, — распорядился он, — потом чай и крылышко цыпленка. Маслину получите завтра, если будете умницей. А теперь, если разрешите быть вашим гостем, приступим к ужину.

Он пододвинул к столу второй стул. От чая глаза у девушки оживились, лицо чуть порозовело. Она ела с изысканной жадностью, как изголодавшийся дикий зверек. Присутствие в комнате постороннего молодого человека и предложенную им помощь она, казалось, рассматривала как нечто само собой разумеющееся. Не потому, что мало придавала значения условностям, а потому, что естественное, заложенное в человеке природой чувство голода дало ей право на время забыть об искусственном и условном. Однако постепенно, по мере того как восстанавливались ее силы и самочувствие, с ними вместе вернулись и все привычные маленькие условности.

Она рассказала ему свою нехитрую историю — одну из тысячи таких, над которыми ежедневно зевает город, — историю продавщицы в магазине. Жалкая оплата, еще урезаемая «штрафами», которые повышают доходы хозяина; болезнь, зря потерянное время. А потом потеря места, потеря надежд и — и в зеленую дверь стучит искатель приключений.

Но в ушах Рудольфа этот рассказ прозвучал как «Илиада» — или как кульминационная сцена в романе «Испытания любви Джуни».

— Боже мой, только подумать, что вам пришлось пережить! — воскликнул он.

— Да, просто ужас, — сказала девушка с величайшей серьезностью.

— И у вас здесь нет ни родственников, ни друзей?

— Ни души.

— У меня тоже, — проговорил Рудольф, помолчав.

— Я очень этому рада, — ответила девушка без запинки. И молодому человеку почему-то было очень приятно услышать, что ее радует его одинокое существование.

Вдруг как-то сразу веки у нее стали слипаться, и она глубоко вздохнула.

— Ужасно хочется спать... Мне так хорошо...

Рудольф встал, взял шляпу.

— В таком случае пожелаю вам спокойной ночи. Крепкий длительный сон именно то, что вам нужно.

Он протянул руку, девушка приняла ее и сказала «спокойной ночи». Но в глазах у нее был такой красноречивый, такой откровенный, такой



взывающий вопрос, что Рудольф ответил на него словами:

— Да, конечно, завтра я зайду проверить, как у вас дела. Вам от меня так легко не отделаться.

Только когда он уже стоял у порога, она спросила, как он попал к ней, словно по сравнению с самим фактом его появления это обстоятельство было столь маловажно!

— Почему вы постучали ко мне?

Он взглянул на нее, вспомнил листки, которые раздавал негр, и сердце у него сжалось от ревности и боли. Что, если бы они попали в другие руки — в руки таких же искателей приключений, как он сам? Рудольф мгновенно решил, что она никогда не должна узнать правду. Он никогда не скажет, что ему известна та странная мера, на которую ее толкнула безвыходность положения.

— Один из наших настройщиков живет в этом доме, — сказал он. — Я ошибся дверью.

Последнее, что видел Рудольф перед тем, как за ним закрылась зеленая дверь, была улыбка девушки.

На лестничной площадке он с любопытством огляделся. Потом прошелся во всю длину коридора сперва в один его конец, потом в другой. Затем поднялся выше, продолжая проверять ошеломляющее открытие: все двери в доме были выкрашены в зеленый цвет.

Все еще недоумевая, он спустился вниз, вышел на улицу. Африканец в фантастическом наряде стоял на прежнем месте. Рудольф протянул ему оба свои листка.

— Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат? — спросил он.

Широкая, добродушная улыбка на лице негра послужила отличной рекламой его работодателю.

— Вон там, — проговорил он, указывая вдоль улицы. — Только к первому акту вы уже опоздали!

Проследовав взглядом туда, куда указывал негр, Рудольф увидел ослепительные электрические буквы над театральным подъездом, возвещавшие название новой постановки:

## «ЗЕЛЁНАЯ ДВЕРЬ»

— Я слышал, босс, пьеса первый сорт, — сказал негр. — Их агент дал мне доллар, сказал, чтоб я раздал немного их бумажек, вместе с

докторскими. Могу я предложить вам и докторскую карточку, сэр?

На углу квартала, где он жил, Рудольф зашел выпить кружку пива и взять сигару. Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю:

— Все равно, я верю, что сам перст Судьбы указал мне дорогу к той, кто мне нужен.

И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно, позволяет причислить Рудольфа Штейнера к истинным последователям Романтики и Приключения.

## С высоты козел

*Перевод Н. Дехтеревой.*

У кебмена свой особый взгляд на вещи, и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо, избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он — возница, а вы — транспортируемый товар. Президент вы или бродяга — кебмену безразлично, вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас на месте назначения.

Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение; если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, вам станет очевидна скудость воображения Данте.

Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность кебмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно Юпитеру, кебмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место, и держит вашу судьбу меж двух неустойчивых кожаных ремней. А вы — беспомощный, нелепый узник, болтая головой, словно китайский болванчик, — вы, перед кем на твердой земле пресмыкаются лакеи, — вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны.

При этом вы даже не седок в экипаже, вы его содержимое. Вы груз корабельного трюма, и «херувим, на небесах сидящий»<sup>[30]</sup>, отлично знает, где именно идут ко дну корабли.

Как-то вечером из большого кирпичного жилого дома — всего через дом от «Семейного кафе» Мак-Гэри — доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе Мак-Гэри, несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре были заняты пересудами и обменом мнений, из которых нетрудно было понять основную тему: Нора Уолш справляет свадьбу.

В положенное время на тротуар высыпали и гости. Неприглашенные

столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом и тем трудноописуемым шумом, который явился, не без помощи Мак-Гэри, результатом возлияний в честь Гименея.

У обочины тротуара стоял кеб Джерри О'Донована. «Ночной ястреб» — вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кебов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он был самый чистенький и блестящий. А конь? Нимало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы — да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована.

В этой не стоящей на месте, громкозвучной, вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров; его нос морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седоками; его зеленое с медными пуговицами одеяние, так восхищавшее население кварталов, окружавших кафе Мак-Гэри. Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и «нагрузился» сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что «Джерри налил до краев».

Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих отделилась молодая женщина, быстрым, легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему кебу, на пути сбив с ног трех или четырех зевак, и сам... нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно моряку, который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место. И едва он оказался там, как флюиды из кафе Мак-Гэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань-мачте своего сухопутного судна, он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе.

— Входите, леди, — проговорил Джерри, берясь за вожжи.

Молодая женщина вошла в кеб. С шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице.

Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку на верху кеба и, стараясь быть

любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон:

— И куда же мы теперь двинем?

— Куда угодно, — ответили ему приятным и довольным тоном.

«Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри. И затем предложил как нечто само собой разумеющееся:

— Прокатимся по парку, леди. И прохладно будет, и по-благородному.

— Пожалуйста, как угодно, — приветливо согласилась пассажирка.

Кеб двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем сиденье. Притихшие было мощные флюиды Мак-Гэри ожили и посылали новые пары в голову возницы. Он запел старинную песню деревни Киллиснук, размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой.

Пассажирка в кебе сидела на подушках выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном кебе глаза ее сияли, как звезды в сумерках.

Когда они подъезжали к Пятьдесят девятой улице, голова Джерри болталась и вожжи в его руках ослабли. Но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев. А мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держалось правой стороны и бежало той рысцой, которая полагается при оплате «по часам».

Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, стереотипный для кебменов, заехавших в парк:

— Как насчет «Казино», леди, не желаете там остановиться? Подкрепиться, музыку послушать и прочее. Все туда заглядывают.

— Я думаю, это было бы очень приятно, — последовал ответ.

Они подкатили к «Казино», и кеб, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись. Пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней и красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число «34». Она оглянулась, увидела, что ее кеб отъехал от подъезда шагов на тридцать и уже занимает место среди множества других карет, кебов и автомобилей. Затем кто-то, у кого, казалось, самым приметным в костюме была манишка, изящно попятился перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветви жасмина.

Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, — жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса.

За пятьюдесятью столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоценностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье из шелка, облагороженного наименованием «фуляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно.

Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны *al fresco*<sup>[31]</sup>, и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные и фланелевые чехлы. Официанты снимали скатерти со столиков рядом с тем, за которым сидела, теперь уже почти в одиночестве, простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали.

Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона.

— Что-нибудь полагается по этому билетику?

Официант объяснил, что это номер ее кеба и что она должна вручить его человеку у подъезда. Человек у подъезда выкрикнул номер. У «Казино» теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего в своем кебе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и кеб тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь.

Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Он остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос:

— Сперва я хочу получить мои четыре доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?

— Четыре доллара? — мягко рассмеялась пассажирка. — Бог ты мой, конечно нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки.

Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия: задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая

улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом.

Он остановился у подъезда с зелеными фонарями. Рванув дверцу кеба, он тяжело спрыгнул с козел.

— Вылезайте, — сказал он грубо.

Пассажирка вышла — на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в «Казино». Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кебмен встречались не впервые.

— Сержант, — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика — хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант, вот у меня пассажирка, так она...

Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями Мак-Гэри, начинал рассеиваться.

— Да, пассажирка, сержант, — продолжал он, ухмыляясь, — которую желаю вам представить. Это моя жена, женился на ней нынче вечером — гуляли у ее отца, старика Уолша. Уж так гуляли, только держись, право слово. Ну, поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.

Прежде чем снова сесть в кеб, Нора испустила глубокий вздох.

— Я так чудесно провела время, Джерри, — сказала она.

# Неоконченный рассказ

*Перевод под ред. М. Лорие.*

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придаться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади<sup>[32]</sup>, но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые...

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего



заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог... то есть, виноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорила пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной полочки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезают из вишневых косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не устаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удастся проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комодѣ помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюде и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует — ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и...

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах

мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписаных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушные кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип: хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов... постойте, постойте... нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там...

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не

пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — Фамилия Уиггинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусилла нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Китченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Китченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Китченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Китченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагрубила генералу Китченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Китченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Китченеру случится отвернуться: и тогда...

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертие, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

# Калиф, Купидон и часы

*Перевод З. Львовского.*

Принц Михаил, курфюрст Валлелунский, сидел на своей любимой скамье в парке. Острый холодок сентябрьского вечера, точно редкостное подкрепляющее вино, заставлял кровь сильнее обращаться в его жилах. Большинство скамеек в парке было не занято, потому что парковые аборигены, с их стоячей кровью, боялись осенней сырости и предпочитали проводить холодные ночи под каким-нибудь кровом. Луна только что поднялась над крышами домов, которые окаймляли всю восточную часть парка. Дети играли, прыгали и смеялись вокруг весело журчащего фонтана. В наиболее затененных местах фавны энергично ухаживали за дриадами и почти не обращали никакого внимания на любопытные взгляды смертных. Где-то на боковой улице визжала и стонала шарманка. Вокруг парка шумели и гремели трамваи, а огромные автобусы рычали, словно львы или тигры, и требовали, чтобы все и вся расступалось на их пути. А высоко над деревьями сиял большой круглый циферблат изнутри освещенных часов на башне старинного общественного строения.

Сапоги принца Михаила были растерзаны так, что самый ловкий и искусный башмачник ровно ничего не мог бы сделать с ними. Старьевщик отклонил бы всякие переговоры касательно его костюма. Двухнедельное жниво на его лице было серое, коричневое, красное и зеленовато-желтое: во всяком случае, хористки музыкальной комедии могли бы заимствовать из его бороды всевозможные цветовые оттенки для своих нарядов. Не было еще такого богача на свете, который из прихоти разрешил бы себе носить такую потрепанную шляпу, как принц Михаил.

Принц Михаил сидел на своей любимой скамье в парке и улыбался. Ему было очень забавно думать и сознавать, что он достаточно богат для того, чтобы купить любой из этих огромных, вплотную примыкающих друг к другу многооконных домов, которые возвышались против него. Стоило ему только захотеть! Стоило ему только взять малую часть своих несметных богатств, и он мог бы с любым Крезом Мангаттанским помериться во всем том, что касается золота, экипажей, драгоценностей, произведений искусства, недвижимого имущества, земель и так далее.

Если бы он захотел, то мог бы сидеть за одним столом с величайшими господами и правителями мира сего. Весь правящий мир, все

представители искусства, все те, кто может подражать, льстить и преклоняться, были в его власти. Внимание красивейших, уважение выдающихся, признание мудрейших, доверие, лесть, почет, все радости жизни, слава — все это было в его распоряжении. Стоило только принцу Михаилу, курфюрсту Валеллунскому, нагнуться, и он мог собрать весь мед из лучших сотов мира. Но ему всего более нравилось сидеть так, в лохмотьях и отрепьях, на скамье парка. Ибо он вкусил уже от плодов древа жизни, и во рту у него остался такой горький привкус, что он предпочел раз навсегда уйти из Рая и поискать развлечения и отдохновения в чем-нибудь поближе к крепкому и мерно бьющемуся сердцу Мира.

Эти мысли лениво проносились в его мозгу в то время, как он мягко улыбался в свою многоцветную бороду. Устраиваясь здесь по своему вкусу и желанию, одеваясь, как самый нищий из бродяг, он очень любил изучать человеческий род. В альтруизме он всегда находил гораздо больше прелести и радости, чем то могли ему дать все его общественное положение и условная, мишурная власть. Наибольшая радость, наивысшее удовлетворение его заключались в том, чтобы облегчать личное горе, оказывать милость тем достойным людям, которые действительно нуждались в ней, и ослеплять несчастных совершенно неожиданными, необыкновенными дарами, раздаваемыми с чисто царской роскошью, но в то же время весьма мудро и осторожно.

Вдруг взоры принца Михаила остановились на светящихся башенных часах, и его улыбка, все еще сохраняя все следы альтруизма, слегка окрасилась презрением. Принц всегда мыслил глубоко и возвышенно, и он неизменно покачивал головой при виде того, как весь Мир постыдно покоряется деспотической власти Времени. Зрелище людей, в страхе и трепете мчащихся во все стороны, всегда навевало на него грусть.

Через некоторое время в парк вошел какой-то молодой человек во фраке и уселся на третьей от принца Михаила скамье. В продолжение доброго получаса он нервно и торопливо курил папиросы, а затем начал пристально следить за циферблатом светящихся часов поверх деревьев. Его волнение слишком бросалось в глаза, и принц с печалью в душе отметил про себя, что возбужденное состояние молодого человека находится в некоторой зависимости от медленно подвигающихся стрелок башенных часов.

Тогда его высочество встал и направился к скамье незнакомца.

— Покорно прошу прощения в том, что я обращаюсь к вам, — величаво начал он, — но я заметил, что вы находитесь в состоянии большого сердечного волнения. Если вам угодно будет простить меня, что я

вмешиваюсь в чужие дела, то я смогу прибавить, что я — принц Михаил, престолонаследник курфюршества Валлелунского. Как вы сами можете судить по моей внешности, я явился сюда инкогнито. В этом заключается моя фантазия: оказывать помощь тем людям, которых нахожу достойными моего внимания. Весьма возможно, что печаль, которая сейчас снедает вас, уступит нашим соединенным усилиям и стараниям.

Молодой человек с просветленным лицом взглянул на принца. Но, несмотря на просветленное лицо, перпендикулярная линия волнения, залегшая между его бровями, нисколько не смягчилась. Он рассмеялся, но и тогда линия не исчезла. Но тем не менее он очень охотно принял это временное развлечение.

— Я очень рад видеть вас, принц, — сказал он весьма приветливо. — Несомненно, что вы здесь инкогнито, это сразу бросается в глаза. Очень и очень благодарен вам за желание оказать мне помощь, но, признаться, не знаю и не представляю себе, каким образом вы можете помочь мне. Видите ли, это такое интимное, личное дело, что... Но все же я от души благодарю вас.

Принц Михаил сел рядом с молодым человеком. Случалось так, что его отталкивали, но никогда не делали этого слишком обидно: изысканные манеры и полная достоинства речь принца не разрешали этого.

— Часы всегда были и останутся тяжелыми оковами на ногах человечества, — сказал принц. — Я обратил внимание на то, как пристально вы следили только что за часами. Но разве же вам не известно, что у часов — лицо тирана и что числа их фальшивы, как числа и номера в любой лотерее? Умоляю вас: сбросьте с себя унижительные часовые оковы и прекратите это наглое издевательство и вмешательство в ваши личные дела этой бездушной медной штуки со стальным сердцем.

— О, я не всегда даю часам властвовать надо мной, — ответил юноша.

— Человеческую натуру я знаю так же хорошо, как природу деревьев и травы, — с тем же величавым достоинством продолжал принц. — Я большой философ, великий знаток искусства, и деньги даны мне для того, чтобы я достойно использовал все их возможности. Разрешите уверить вас, что мало имеется на свете таких горестей и осложнений, которых я не мог бы разрешить или же облегчить. Я изучил ваше лицо и увидел, что оно столь же честно и благородно, как и печально. Вот почему я убедительно прошу вас принять мой совет или же помощь. О, не отрицайте, в вашем лице мелькнуло выражение сомнения в моей мощи только потому, что на мне такой наряд. Пусть вас это нисколько не смущает.

Молодой человек снова взглянул на часы и нахмурился. А затем его



напряженный взор перебежал с блестящего горолога и впился в четырехэтажный, красный кирпичный дом, стоявший в ряду строений против того места, где он сидел. На землю упали уже густые сумерки, и сквозь них во многих домах слабо светились огни.

— Без десяти минут девять! — воскликнул молодой человек с нетерпеливым жестом отчаяния.

Он повернулся спиной к дому и сделал два-три поспешных шага в противоположном направлении.

— Остановитесь, — приказал ему принц Михаил, и в голосе его зазвучала такая сила, что юноша мигом остановился и издал какой-то горький смешок.

— Я подожду здесь еще десять минут, а затем уйду, — пробормотал он и прибавил громко, обращаясь к принцу: — Я вполне, милый друг мой, согласен с вами, что надо проклясть все часы на свете, содрать их и швырнуть в женщин.

— Присядьте, — спокойно предложил ему принц. — Ваше дополнение я никоим образом не могу принять. Женщины по самой природе своей — враги часов, а, вследствие этого, друзья всех тех людей, которые желают освободиться от ненавистой власти чудовищ, измеряющих наши прихоти и ограничивающих наши радости. Если я настолько внушаю вам доверие, то покорнейше прошу вас изложить мне историю вашей тревоги.

Молодой человек тяжело опустился на скамью и почти беспечно рассмеялся.

— Ваше королевское высочество, — начал он с насмешливой почтительностью. — Изволите ли вы видеть тот дом, с тремя освещенными окнами в верхнем этаже? Так вот, ровно в шесть часов вечера, сегодня, я стоял в этом доме под руку с одной молодой леди, которую... ну, с которой я помолвлен. Дорогой мой принц, я должен признаться, что поступил по отношению к ней нехорошо, неблагородно, возмутительно. Я сделал то, чего никоим образом не должен был делать, и она узнала про это. Конечно, я всячески добивался того, чтобы получить ее прощение... Ведь вы сами, принц, прекрасно знаете, как мы всегда добиваемся того, чтобы женщины простили нас. Но она вот что сказала мне: «Я должна подумать обо всем этом. Так, сразу, я не могу дать вам определенного ответа, но несомненно одно: либо я совершенно забуду про случившееся, либо я никогда больше не увижу вашего лица. На полурешение я ни за что не соглашусь. В половине девятого, ровно в половине девятого вечера следите за средним окном в верхнем этаже. Если я решу простить вас, то вывешу за окно белый шелковый шарф. По этому знаку вы поймете, что все идет по-

прежнему и что вы снова можете прийти ко мне. Если же шарфа за окном не будет, то это будет значить, что все между нами кончено, и навсегда».

— Вот почему, — с большой горечью закончил молодой человек свой рассказ, — я с таким волнением слежу за этими часами. Уже прошло целых двадцать три минуты с тех пор, как должен был показаться шарф, а его до сих пор нет. Так можно ли, милый, обдерганный, оборванный и небритый принц мой, удивляться тому, что я так взволнован?

— Разрешите мне в таком случае повторить вам, что женщины по природе своей враги часов, — своим спокойным, прекрасно модулирующим голосом произнес принц Михаил. — Часы — исчадие дьявола, а женщины — благословение Божье. Несмотря на то что срок прошел, сигнал может еще появиться.

— О, клянусь вашим высочеством, что этого не будет! — воскликнул молодой человек. — Вы говорите это только потому, что совершенно не знаете Мэриан, что вполне естественно. Она на редкость пунктуальный человек, который всегда точен до минуты.

Он добавил:

— Эта ее особенность вначале и привлекла меня к ней. Теперь все для меня кончено. И я понял это еще в восемь часов тридцать одну минуту. Мне остается одно: сегодня, в одиннадцать часов сорок пять минут вечера я уеду с Джеком Милберном на Запад. Ничего другого я не придумаю. Попытаюсь устроиться на ранчо Джека, а если ничего из этого не выйдет, то я двину в Клондайк, где виски заставят меня позабыть обо всем на свете. Спокойной ночи, принц мой...

Принц Михаил улыбнулся своей загадочной, очаровательной и сочувствующей улыбкой и схватил юношу за рукав. Его блестящие глаза затаились мечтательной, прозрачной пеленой.

— Подождите, — торжественно произнес он, — подождите, пока пробьют часы. Я обладаю большой властью, неограниченным могуществом и прекрасно изучил человеческую душу, но неизменно пугаюсь, когда бьют часы. Останьтесь подле меня до этой минуты. Говорю вам: эта женщина будет ваша. Вам ручается в этом наследный принц Валлелуны. В день вашей свадьбы вы получите от меня сто тысяч долларов и дворец на Гудзоне. Но я ставлю вам одно обязательное условие: в этом дворце не должно быть часов, ибо они измеряют наши прихоти и ограничивают наши радости. Вы принимаете это условие?

— Ну, конечно, принимаю, — весело отозвался молодой человек. — Да и вообще я нахожу, что это — беспокойная и никому не нужная штука. Вечно тикают, вечно бьют, и из-за них тебя вечно упрекают в том, что ты

опоздал к обеду.

Он снова взглянул на башенные часы. Стрелки показывали без трех минут девять.

— А знаете что, — сказал принц Михаил, — я хотел бы немного поспать. У меня сегодня выдался чрезвычайно утомительный день. Я адски устал.

Он вытянулся на скамье с видом человека, привыкшего к такого рода отдыху.

— В любой вечер, если только погода не помешает, вы можете найти меня в этом парке, — сонно произнес он. — Придите ко мне в тот день, когда должна будет состояться ваша свадьба, и я немедленно выдам вам чек на обещанную сумму.

— Премного благодарен вам, ваше высочество, — серьезно промолвил юноша. — Это будет исполнено, и не потому, что я так нуждаюсь в дворце на Гудзоне. Нет, мне просто приятно принять из ваших рук такой прекрасный подарок.

Принц Михаил тяжело задремал, Его помятая шляпа скатилась со скамьи на песок. Молодой человек поднял ее, прикрыл лицо принца и поправил одну из его ног, которая приняла удивительно забавное положение.

— Несчастный человек, — пробормотал он и приподнял полы свесившегося пиджака будущего владельца Валлелуны.

Резко и четко часы пробили девять. Молодой человек опять вздохнул, повернул свое лицо для того, чтобы бросить последний взгляд на дом, где были сосредоточены и похоронены все его надежды, и — вдруг произнес вслух какие-то глупые и вместе восторженные слова.

В среднем окне верхнего этажа, в глубоких сумерках, внезапно расцвела, зыбкая, белоснежная, качающаяся, чудесная, божественная эмблема прощения и близкого блаженства.

Вскоре после того мимо прошел кругленький, толстенький, торопливый гражданин, не имевший ни малейшего представления о всех замечательных возможностях, которые таятся в шелковых шарфах, развевающихся иногда за границами полутемного парка.

— Не будете ли вы любезны сказать мне, который час, сэр? — спросил молодой человек.

И маленький, кругленький, толстенький гражданин немедленно вытащил часы из кармашка и ответил:

— Двадцать девять с половиной минут девятого, сэр.

С этими словами он чисто механически и по привычке глянул на

башенные часы и продолжал:

— Клянусь всеми святыми, что эти часы спешат ровно на полчаса. Впервые за последние десять лет я наблюдаю такой случай. Мои часы никогда не разнятся...

Но оказалось, что словоохотливый гражданин разговаривал сам с собой или же обращался к пустоте. Он повернулся и увидел, что какая-то темная тень сломя голову неслась по направлению дома с тремя освещенными окнами в верхнем этаже.

На следующее утро двое полицейских вошли в парк, с тем, чтобы совершить свой обычный обход. Парк был совершенно пуст. В нем не было никого, за исключением одного жалкого человека, который спал, вытянувшись на скамье.

Полицейские остановились и воззрились на спящего.

— А, да ведь это Майк, — сказал один из них. — Он проводит здесь все ночи. Вот уже двадцать лет, как он обитает здесь. Мне только кажется, что он недолго еще протянет.

Другой полисмен подошел ближе, заинтересованный чем-то скомканным и торчавшим в сжатой руке бродяги.

— Вот так так, — заметил он. — Он выудил где-то пятьдесят долларов. Интересно знать, каким образом он раздобыл их.

И тогда послышались три резких удара.

— Рэп. Рэп. Рэп.

Это дубинка действительности три раза стукнула об изношенные подошвы принца Михаила, наследника курфюрста Валлелунского.

# Сёстры золотого кольца

*Перевод В. Маянц.*

Экскурсионный автобус вот-вот отправится в путь. Учтивый кондуктор уже рассадил по местам веселых пассажиров империала. Тротуар запружен зеваками, которые собрались сюда поглазеть на других зевак, тем самым подтверждая закон природы, гласящий, что всякому существу на земле суждено стать добычей другого существа.

Человек с рупором поднял свое орудие пытки, внутренности огромного автобуса начали бухать и биться, словно сердце у любителя кофе. Пассажиры империала нервно уцепились за сиденья, пожилая дама из Вальпараисо, штат Индиана, завизжала, что хочет высадиться на сушу. Однако, прежде чем завертятся колеса автобуса, послушайте краткое предисловие к нашему рассказу, которое откроет вам глаза на нечто, достойное внимания в той экскурсии по жизни, которую совершаем мы с вами.

Быстро и легко белый узнает белого в дебрях Африки, мгновенно и безошибочно возникает духовная близость у матери и ребенка, без труда общается хозяин со своей собакой через едва заметную пропасть, которая отделяет человека от животного, с поразительной скоростью обмениваются короткими мудрыми весточками двое влюбленных. Однако во всех этих случаях взаимное понимание устанавливается медленно и как бы на ощупь по сравнению с тем, что вам доведется наблюдать на нашем автобусе с туристами. Вы узнаете (если не узнали еще до сих пор), какие именно два существа из тех, что населяют землю, при встрече быстрее всего проникают в сердце и душу друг друга.

Зазвенел гонг, и автобус, битком набитый Желаящими Просветиться, торжественно отправился в свое поучительное турне.

Заднюю, самую высокую скамью империала занимал Джеймс Уильямс из Кloverдейла, штат Миссури, со своей Новобрачной.

Наборщик, друг, с заглавной буквы намери это слово — лучшее из слов в великом празднике жизни и любви. Аромат цветов, нектар, собранный пчелой, первая весенняя капель, ранняя песнь жаворонка, лимонная корочка в коктейле мироздания — вот что такое Новобрачная. Мы свято чтим жену, уважаем мать, не прочь пройтись летним вечерком с девушкой, но Новобрачная — это банковский чек, который среди других свадебных

подарков боги посылают на землю, когда Человек венчается с Жизнью.

Автобус катился по Золотому пути. На мостике громадного крейсера стоял капитан, через рупор вещая о достопримечательностях большого города. Широко раскрыв глаза и развесив уши, пассажиры слушали громовую команду — любоваться разными знаменитыми видами. Все вызывало интерес у млевших от восторга провинциалов, и они терялись, не зная, куда смотреть, когда труба призывала их к новым зрелищам. Широко раскинувшиеся соборы с торжественными шпилями они принимали за дворец Вандербильтов; они удивились, но решили, что кишачее людьми здание Центрального вокзала и есть смиренная хижина Рассела Сейджа<sup>[33]</sup>. Когда им предложили взглянуть на холмистые берега Гудзона, они замерли от восхищения перед горами земли, навороченными при прокладке новой канализации.

Многим подземная железная дорога казалась торговыми рядами Риальто: на станциях сидят люди в форме и делают отбивную из ваших билетов. Провинциалы по сей день уверены, что Чак Коннорс, прижав руку к сердцу, проводит в жизнь реформы и что, не будь некоего окружного прокурора Паркхерста и его самоотверженной деятельности на благо города, знаменитая банда «Епископа» Поттера перевернула бы вверх дном закон и порядок от Бауэри до реки Гарлем.

Однако вас я прошу взглянуть на миссис Джеймс Уильямс — совсем недавно она была Хэтти Чалмерс, первая красавица в Кloverдейле. Новобрачная должна носить нежно-голубой цвет, если только это будет угодно, и именно этот цвет почтила наша Новобрачная. Розовый бутон с удовольствием уступил ее щекам часть своего румянца, а что касается фиалок! — ее глаза прекрасно обойдутся и без них, спасибо. Бесплезное облако белого газа... — ах, нет! облако газа стлалось за автобусом, — белого шифона — или, может, то была кисея или тюль — подвязано у нее под подбородком якобы для того, чтобы удержать шляпу на месте, Но вы не хуже меня знаете, что на самом деле шляпа держалась на булавках.

На лице миссис Джеймс Уильямс была изложена маленькая библиотечка избранных мыслей человечества в трех томах. Том I содержал в себе мнение, что Джеймс Уильямс — лучше всех в мире. Том II был трактатом о вселенной, из коего явствовало, что это есть восхитительнейшее место. Том III выдвигал тезис, что они с мужем заняли самые высокие места в автобусе для туристов и путешествуют со скоростью, превышающей всякое понимание...

Джеймсу Уильямсу вы бывали года двадцать четыре. Вам будет приятно узнать, насколько эта оценка оказалась точной. Ему было ровно

двадцать три года, одиннадцать месяцев и двадцать девять дней. Он был стройный, энергичный, живой, добродушный, имел надежды на будущее. Он совершал свадебное путешествие.

Милая добрая фея, тебе присылают заказы на деньги, на шикарные лимузины в сорок лошадиных сил, на громкую славу, на новые волосы для лысины, на президентство в яхт-клубе, — отложи эти дела в сторону и оглянись вместе с нами, ах, оглянись назад и дай нам пережить вновь хоть малюсенький кусочек нашего свадебного путешествия! Хоть на часок, душечка фея, чтобы вспомнить, какими были лужайки, и тополя, и облако лент, подвязанное под ее подбородком, даже если на самом деле шляпа держалась на булавках. Не можешь? Жаль. Ну что ж, тогда поторопись с лимузином и с нефтяными акциями.

Впереди миссис Уильямс сидела девушка в свободном оранжевом жакете и в соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Виноград и розы на одной ветке. — Увы! это можно увидеть только во сне да в лавке шляпницы Большими доверчивыми голубыми глазами девушка глядела на человека с рупором, когда он убежденно трубил о том, что миллионеры достойны занимать наше воображение. В перерывах между его отчаянными воплями она прибегала к философии Эпиктета, воплощенной в жевательной резинке.

Справа от этой девушки сидел молодой человек лет двадцати четырех. Он был стройный, энергичный, живой и добродушный. Если вам кажется, что по нашему описанию получился вылитый Джеймс Уильямс, то отнимите у него все кловвердейлское, что так характерно для Джеймса. Наш герой э 2 вырос среди жестких улиц и острых углов Он зорко поглядывал по сторонам, и, казалось, завидовал асфальту под ногами тех, на кого он взирал сверху вниз со своего насеста.

Пока рупор твякает у какой-то знаменитой гостиницы, я тихонько попрошу вас усесться покрепче, потому что сейчас произойдет кое-что новенькое, а потом огромный город опять сомкнется над нашими героями, как над обрывком телеграфной ленты, выброшенной из окна конторы биржевого спекулянта.

Девушка в оранжевом жакете обернулась, чтобы рассмотреть паломников на задней скамье. Всех прочих пассажиров она уже обозрела, а места позади все еще оставались для нее комнатой Синей Бороды.

Она встретила взглядом с миссис Джеймс Уильямс. Не успели часы тикнуть, как они обменялись жизненным опытом, биографиями, надеждами и мечтами. И все это, заметьте, при помощи одного взгляда, быстрее, чем двое мужчин решили бы, схватиться ли им за оружие, или

попросить прикурить.

Новобрачная низко наклонилась вперед. Между ней и девушкой в жакете завязалась оживленная беседа, языки их работали быстро, точно змеиные — сравнение, в котором не следует идти дальше сказанного. Две улыбки, десяток кивков — и конференция закрылась.

И вдруг посредине широкой спокойной улицы перед самым автобусом встал человек в темном пальто и поднял руку. С тротуара спешил к нему другой.

Девушка в плодородной шляпке быстро схватила своего спутника за руку и шепнула ему что-то на ухо.

Оказалось, что сей молодой человек умеет действовать проворно. Низко пригнувшись, он скользнул через борт империала, на секунду повис в воздухе и затем исчез. Несколько верхних пассажиров с удивлением наблюдали за столь ловким трюком, но от замечаний воздержались, полагая, что в этом поразительном городе благоразумней всего ничему не удивляться вслух, тем более что ловкий прыжок может оказаться обычным способом высаживаться из автобуса. Нерадивый экскурсант увернулся от экипажа и, точно листок в потоке, проплыл куда-то мимо между мебельным фургоном и повозкой с цветами.

Девушка в оранжевом жакете опять обернулась и посмотрела в глаза миссис Джеймс Уильямс. Потом она стала спокойно глядеть вперед, — в этот момент под темным пальто сверкнул полицейский значок, и автобус с туристами остановился.

— Что у вас, мозги заело? — осведомился человек с трубой, прервав свою профессиональную речь и переходя на чистый английский язык.

— Бросьте-ка якорь на минуту, — распорядился полицейский. — У вас на борту человек, которого мы ищем, — взломщик из Филадельфии, по прозвищу Мак-Гайр — «Гвоздика». Вон он сидит на заднем сиденье. Ну-ка, зайди с той стороны, Донован.

Донован подошел к заднему колесу и взглянул вверх на Джеймса Уильямса.

— Слезай, дружок, — сказал он задушевно. — Поймали мы тебя. Теперь опять отдохнешь за решеткой. А здорово ты придумал спрятаться на Глазелке. Надо будет запомнить.

Через рупор кондуктор негромко посоветовал:

— Лучше слезьте, сэр, выясните, в чем там дело. Нельзя задерживать автобус.

Джеймс Уильямс принадлежал к людям уравновешенным. Как ни в чем не бывало, он не спеша пробрался вперед между пассажирами и



спустился по лесенке вниз. За ним последовала его жена, однако, прежде чем спуститься, она поискала глазами исчезнувшего туриста и увидела, как он вынырнул из-за мебельного фургона и спрятался за одним из деревьев сквера, в пятидесяти футах от автобуса.

Оказавшись на земле, Джеймс Уильямс с улыбкой посмотрел на блюстителей закона. Он уже предвкушал какую веселенькую историю можно будет рассказать в Кloverдейле о том, как его было приняли за грабителя. Автобус задержался из почтения к своим клиентам. Ну что может быть интересней такого зрелища?

— Меня зовут Джеймс Уильямс из Кloverдейла, штат Миссури, — сказал он мягко, стараясь не слишком огорчить полицейских. — Вот здесь у меня письма, из которых видно...

— Следуй за нами, — объявил сыщик. — Описание Мак-Гайра — «Гвоздики» подходит тебе точь-в-точь, как фланелевое белье после горячей стирки. Один из наших заметил тебя на верху Глазелки около Центрального парка. Он позвонил, мы тебя и сцапали. Объясняться будешь в участке.

Жена Джеймса Уильямса — а она была его женой всего две недели — посмотрела ему в лицо странным, мягким, лучистым взглядом; порозовев, посмотрела ему в лицо и сказала:

— Пойди с ними, не буянь, «Гвоздика», может быть, все к лучшему.

И потом, когда автобус, набитый Желаящими Просветиться, отправился дальше, она обернулась и послала воздушный поцелуй — его жена послала воздушный поцелуй! — кому-то из пассажиров, сидевших на империале.

— Твоя девчонка дала тебе хороший совет, — сказал Донован. — Пошли.

Тут на Джеймса Уильямса нашло умопомрачение. Он сдвинул шляпу на затылок.

— Моя жена, кажется, думает, что я взломщик, — сказал он беззаботно. — Я никогда раньше не слыхал, чтобы она была помешана, следовательно, помешан я. А раз я помешан, то мне ничего не сделают, если я в состоянии помешательства убью вас, двух дураков.

После чего он стал сопротивляться аресту так весело и ловко, что потребовалось свистнуть полицейским, а потом вызвать еще резервы, чтобы разогнать тысячную толпу восхищенных зрителей.

В участке дежурный сержант спросил, как его зовут.

— Не то Мак-Дудл — «Гвоздика», не то «Гвоздика» — Скотина, не помню точно, — отвечал Джеймс Уильямс. — Можете не сомневаться, я взломщик, смотрите, не забудьте это записать. Добавьте, что сорвать

«Гвоздику» удалось только впятером. Я настаиваю, чтобы эта особо отметили в акте.

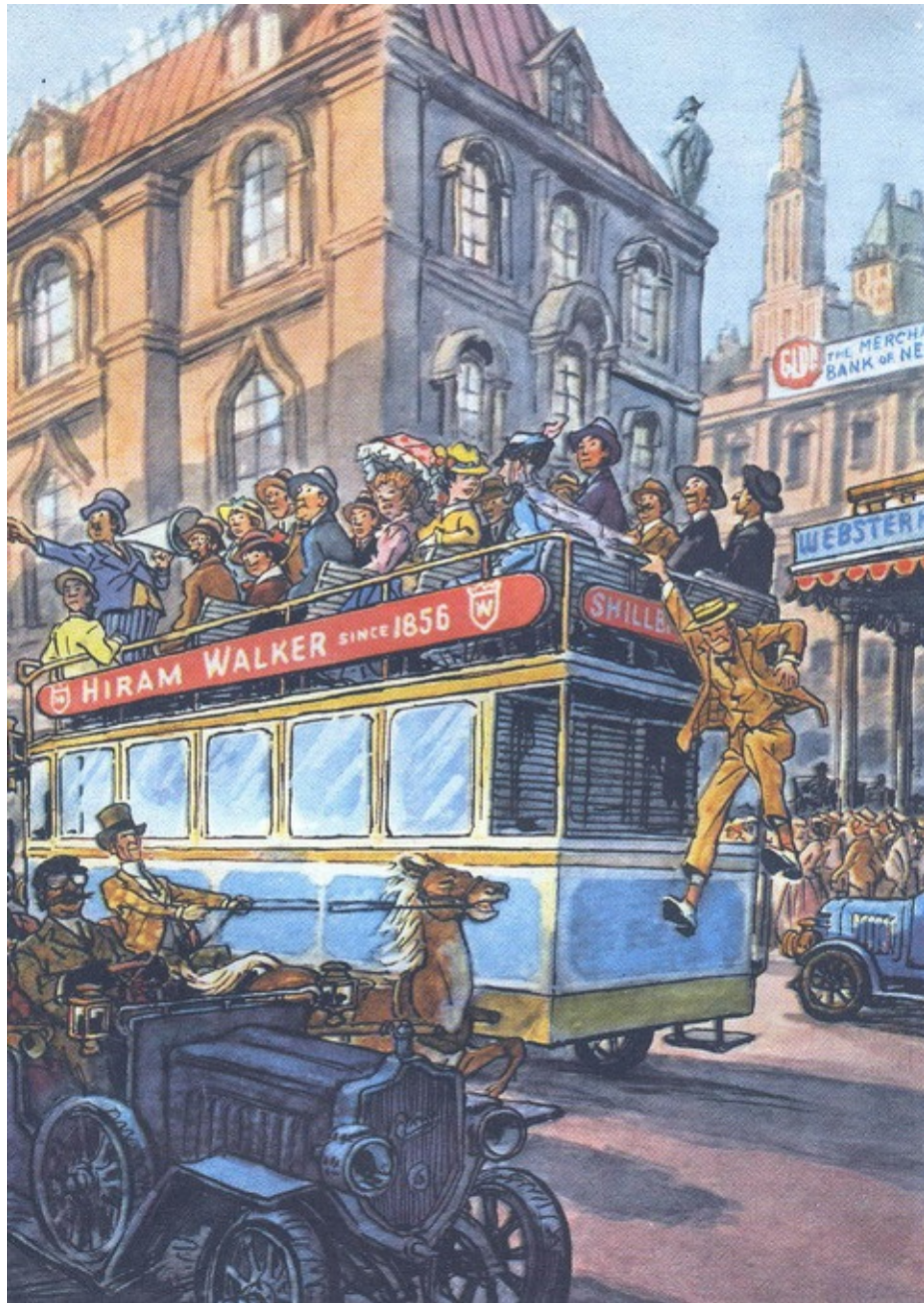
Через час миссис Джеймс Уильямс привезла с Мэдисон-авеню дядю Томаса и доказательства невинности нашего героя; привезла во внушающем уважение автомобиле, точь-в-точь как в третьем акте драмы, постановку которой финансирует автомобильная компания.

После того как полиция сделала Джеймсу Уильямсу строгое внушение за плагиат и отпустила его со всем почетом, на какой была способна, миссис Джеймс Уильямс вновь наложила на него арест и загнала в уголок полицейского участка. Джеймс Уильямс взглянул на нее одним глазом. Он потом рассказывал, что второй глаз ему закрыл Донован, пока кто-то удерживал его за правую руку. До этой минуты он ни разу не упрекнул и не укорил жену.

— Может быть, вы потрудитесь объяснить, — начал он довольно сухо, — почему вы...

— Милый, — прервала она его, — послушай. Тебе пришлось пострадать всего час. Я сделала это для нее... Для этой девушки, которая заговорила со мной в автобусе. Я была так счастлива, Джим... так счастлива с тобой, ну разве я могла кому-нибудь отказать в таком же счастье? Джим, они поженились только сегодня утром... И мне хотелось, чтобы он успел скрыться. Пока вы дрались, я видела, как он вышел из-за дерева и побежал через парк. Вот как было дело, милый... Я не могла Иначе.

Так одна сестра незамысловатого золотого колечка узнает другую, стоящую в волшебном луче, который светит каждому всего один раз в жизни, да и то недолго. Мужчина догадывается о свадьбе по рису да по атласным бантам. Новобрачная узнает новобрачную по одному лишь взгляду. И они быстро находят общий язык, неведомый мужчинам и вдовам.



## Роман биржевого маклера

*Перевод под редакцией М. Лорие.*

Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.

Молодая стенографистка служила у Максуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически «помпадур». Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.

Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла — достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.

Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер — машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.

— Да. Ну? В чем дело? — резко спросил Максуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно.

— Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.

— Мистер Питчер, — сказала она доверенному клерку, — мистер Максуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?

— Говорил, — ответил Питчер, — он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали

несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.

— Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина, — пока кто-нибудь не заменит меня.

И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.

Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.

А сегодня у Гарви Максуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер — кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления.

На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.

Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки «под котик» и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающееся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.

— Из стенографического бюро, насчет места, — сказал Питчер.

Максуэл сделал полуоборот; руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.

— Какого места? — спросил он нахмурившись.

— Места стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку.

— Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Максуэл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтобы больше

не. присылали, и никого больше ко мне не водите.

Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что «старик» с каждым днем делается рассеянное и забывчивее.

Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максуэла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максуэла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и мощная машина; слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, залоговые и ссуды — это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы.

Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье.

Максуэл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм; за правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха-весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла.

И через окно в комнату забрел, может быть по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только её.

Этот аромат принес ее и поставил перед ним — видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съехался в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в двадцати шагах.

— Клянусь честью, я это сделаю, — сказал маклер вполголоса. — Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал.

Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет «донести», пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу.

Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максуэл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо.

— Мисс Лесли, — начал он торопливо, — у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста, — эти негодяи вышибают последний дух из

«Тихоокеанских».

— Что вы говорите! — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы меня не поняли? — досадливо спросил Максвелл. — Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать и вот улучил минутку, когда там, в конторе, маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону... Скажите, чтобы подождали, Питчер... Так как же, мисс Лесли?

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею.

— Я поняла, — сказала она мягко. — Это биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в Маленькой церкви за углом<sup>[34]</sup>.

## Через двадцать лет

*Перевод Н. Дехтеревой.*

По улице с внушительным видом двигался постовой полисмен. Внушительность была привычной, не ради зрителей, которые попадались редко. Не было еще и десяти часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели.

Проверяя на ходу двери, ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развалистой походкой, являл собой прекрасный образец блюстителя общественного спокойствия. Жители его участка ложились спать рано. Лишь кое-где еще мелькали огни — в табачном магазине или в ночном баре. Но большинство зданий были заняты под конторы, а те уже давно закрылись.

Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте, возле входа в магазин скобяных изделий, стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только полисмен направился к нему, незнакомец быстро заговорил.

— Все в порядке, сержант, — сказал он успокаивающим тоном. — Поджидаю приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас с ним было условлено двадцать лет тому назад. Вам это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин, стоял раньше ресторан «Большого Джо Брэди».

— Пять лет тому назад, — сказал полисмен, — тот дом снесли.

Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови. В кашне сверкнула булавка с крупным брильянтом.

— Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у «Большого Брэди» с Джимом Уэлсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оба росли с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось восемнадцать, а Джиму двадцать лет. Наутро я отправлялся на Запад, искать счастья. Джимми вытащить из Нью-Йорка было делом безнадежным



— он считал, что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через двадцать лет — день в день, час в час — как бы ни сложилась наша жизнь и как бы далеко ни забросила нас судьба. Мы полагали, что за столько лет положение наше определится и мы успеем выковать свое счастье.

— Это все очень интересно, — заговорил полисмен, — хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались?

— Нет, первое время мы переписывались. Но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка: Джимми, если только он жив, придет к условленному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. Он не забудет. Я отмахал не одну тысячу миль, чтобы попасть сюда вовремя, и дело стоит того, если только и Джим сдержит слово.

Он вынул великолепные часы — их крышка была усыпана мелкими бриллиантами.

— Без трех минут десять, — заметил он. — Было ровно десять, когда мы расстались тогда у дверей ресторана.

— Дела на Западе, полагаю, шли не плохо? — осведомился полисмен.

— О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы вполовину так, как мне. Он был немного рохля, хоть и отличный малый. Мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя. А в Нью-Йорке человек сидит, как чурбан. Только Запад умеет обтесывать людей.

Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед.

— Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности?

— Ну, конечно. Я подожду его еще, по крайней мере, с полчаса. Если только он жив, к этому времени он уж непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант.

— Спокойной ночи, сэр. — Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери.

Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в карманы. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал.

Прошло еще минут двадцать, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась

прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин.

— Это ты, Боб? — спросил подошедший неуверенно.

— А это ты, Джимми Уэлс? — быстро откликнулся тот.

— Ах, бог ты мой! — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. — Ну, ясно как день, это Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь, если только ты еще существуешь на свете. Ну, ну! Двадцать лет — время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как жилось тебе на Западе?

— Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменялся, Джим. Мне помнилось, ты был дюйма на два, на три ниже.

— Да, я еще подросток немного после того, как мне исполнилось двадцать.

— А как твои дела, Джимми?

— Сносно. Служу в одном из городских учреждений. Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок, мы там с тобой вдоволь наговоримся, вспомним старые времена.

Они пошли, взявшись под руку. Приехавший с Запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал.

На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо.

Человек с Запада вдруг остановился и высвободил руку.

— Вы не Джим Уэлс, — сказал он отрывисто. — Двадцать лет — долгий срок, но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку.

— За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником, — ответил высокий. — Вот что, «Шелковый» Боб, уже десять минут как вы находитесь под арестом. В Чикаго так и предполагали, что вы не преминете заглянуть в наши края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами. Вы будете вести себя спокойно? Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэлса.

Человек с Запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его, твердая вначале, слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая:

«Боб! Я пришел вовремя к назначенному месту. Когда ты

зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском.

*Джимми».*

# Мишурный блеск

*Перевод М. Урнова.*

Мистер Тауэрс Чендлер гладил у себя в комнатухе свой выходной костюм. Один утюг грелся на газовой плитке, а другим он энергично водил взад и вперед, добиваясь желаемой складки, которой предстояло вскоре протянуться безупречно прямой линией от его лакированных ботинок до края жилета с низким вырезом. Вот и все о туалете нашего героя, что можно довести до всеобщего сведения. Об остальном пусть догадываются те, кого благородная нищета толкает на жалкие уловки. Мы снова увидим мистера Чендлера, когда он будет спускаться по лестнице дешевых меблированных комнат; безупречно одетый, самоуверенный, элегантный, по внешности — типичный нью-йоркский клубмен, прожигатель жизни, отправляющийся с несколько скучающим видом в погоню за вечерними удовольствиями.

Чендлер получал восемнадцать долларов в неделю. Он служил в конторе у одного архитектора. Ему было двадцать два года. Он считал архитектуру настоящим искусством и был искренне убежден, — хотя не рискнул бы заявить об этом в Нью-Йорке, — что небоскреб «Утюг» по своим архитектурным формам уступает Миланскому собору.

Каждую неделю Чендлер откладывал из своей получки один доллар. В конце каждой десятой недели на добытый таким способом сверхкапитал он покупал в лавочке скаредного Папаши Времени один-единственный вечер, который мог провести как джентльмен. Украсив себя регалиями миллионеров и президентов, он отправлялся в ту часть города, что ярче всего сверкает огнями реклам и витрин, и обедал со вкусом и шиком. Имея в кармане десять долларов, можно в течение нескольких часов мастерски разыгрывать богатого бездельника. Этой суммы хватает на хорошую еду, бутылку вина с приличной этикеткой, соответствующие чаевые; сигару, извозчика и обычные и т. п.

Этот один усладительный вечер, выкроенный из семидесяти нудных вечеров, был для него источником периодически возрождающегося блаженства. У девушки первый выезд в свет бывает только раз в жизни; и когда волосы ее поседеют, он по-прежнему будет всплывать в ее памяти как нечто радостное и неповторимое. Чендлер же каждые десять недель испытывал удовольствие столь же острое и сильное, как в первый раз.

Сидеть под пальмами в кругу бонвиванов, внимать звукам невидимого оркестра, смотреть на завсегдатаев этого рая и чувствовать на себе их взгляды — что в сравнении с этим первый вальс и газовое платьице юной дебютантки?

Чендлер шел по Бродвею, как полноправный участник его передвижной выставки вечерних нарядов. В этот вечер он был не только зрителем, но и экспонатом. Последующие шестьдесят девять дней он будет ходить в плохоньком костюме и питаться за сомнительными табльдотами, у стойки случайного бара, бутербродами и пивом у себя в комнатухе. Но это его не смущало, ибо он был подлинным сыном великого города мишурного блеска, и один вечер, освещенный огнями Бродвея, возмещал ему множество вечеров, проведенных во мраке.

Он все шел и шел, и вот уже сороковые улицы начали пересекать сверкающий огнями путь наслаждений; было еще рано, а когда человек приобщается к избранному обществу всего раз в семьдесят дней, ему хочется продлить это удовольствие. Взгляды — сияющие, угрюмые, любопытные, восхищенные, вызывающие, манящие — были обращены на него, ибо его наряд и вид выдавали в нем поклонника часа веселья и удовольствий.

На одном углу он остановился, подумывая о том, не пора ли ему повернуть обратно и направиться в роскошный модный ресторан, где он обычно обедал в дни своего расточительства. Как раз в эту минуту какая-то девушка, стремительно огибая угол, поскользнулась на обледеневшем бугорке и шлепнулась на тротуар.

Чендлер помог ей подняться с отменной и безотлагательной вежливостью. Прихрамывая, девушка отошла к стене, прислонилась к ней и застенчиво поблагодарила его.

— Кажется, я растянула ногу, — сказала она. — Я почувствовала, как она подвернулась.

— Очень больно? — спросил Чендлер.

— Только когда наступаю. Думаю, что через несколько минут я уже буду в состоянии двигаться.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — предложил молодой человек — Хотите, я приведу кеб или...

— Благодарю вас, — негромко, но с чувством сказала девушка. — Право, не стоит беспокоиться. Как это меня угораздило? И каблучки у меня самые банальные. Их винить не приходится.

Чендлер посмотрел на девушку и убедился, что его интерес к ней быстро возрастает. Она была хорошенькая и изящная, глядела весело и

приветливо. На ней было простенькое черное платье, похожее на те, в какие одевают продавщиц. Из-под дешевой соломенной шляпки, единственным украшением которой была бархатная лента с бантом, выбивались колечки блестящих темно-каштановых волос. С нее можно было писать портрет хорошей, полной собственного достоинства трудящейся девушки.

Вдруг молодого архитектора осенило. Он пригласит эту девушку пообедать с ним. Вот чего не доставало его роскошным, но одиноким пиршествам. Краткий час его изысканных наслаждений был бы приятнее вдвойне, если бы он мог провести его в женском обществе. Он не сомневался, что перед ним вполне порядочная девушка, — ее речь и манеры подтверждали это. И, несмотря на ее простенький наряд, он почувствовал, что ему будет приятно сидеть с ней за столом.

Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и он решился. Разумеется, он нарушал правила приличия, но девушки, живущие на собственный заработок, нередко в таких делах пренебрегают формальностями. Как правило, они отлично разбираются в мужчинах и скорее будут полагаться на свое личное суждение, чем соблюдать никчемные условности. Если его десять долларов истратить с толком, они вдвоем смогут отлично пообедать. Можно себе представить, каким ярким событием явится этот обед в бесцветной жизни девушки; а от ее искреннего восхищения его триумф и удовольствие станут еще сладостней.

— По-моему, — сказал он серьезно, — вашей ноге требуется более длительный отдых, чем вы полагаете. И я хочу подсказать вам, как можно помочь ей и вместе с тем сделать мне одолжение. Когда вы появились из-за угла, я как раз собирался пообедать в печальном одиночестве. Пойдемте со мной, посидим в уютной обстановке, пообедаем, поболтаем, а за это время боль в ноге утихнет, и вы, я уверен, легко дойдете до дому.

Девушка бросила быстрый взгляд на открытое и приятное лицо Чендлера. В глазах у нее сверкнул огонек, затем она мило улыбнулась.

— Но мы не знакомы... а так ведь, кажется, не полагается, — в нерешительности проговорила она.

— В этом нет ничего плохого, — сказал он простодушно. — Я сам вам представляюсь... разрешите... Мистер Тауэрс Чендлер. После обеда, который я постараюсь сделать для вас как можно приятнее, я распрощаюсь с вами или провожу вас до вашего дома, — как вам будет угодно.

— Да, но в таком платье и в этой шляпке! — проговорила девушка, взглянув на безупречный костюм Чендлера.

— Это не важно, — радостно сказал Чендлер. — Право, вы более

очаровательны в вашем наряде, чем любая из дам, которые там будут в самых изысканных вечерних туалетах.

— Нога еще побаливает, — призналась девушка, сделав неуверенный шаг. — По-видимому, мне придется принять ваше приглашение. Вы можете называть меня... мисс Мэриан.

— Идемте же, мисс Мэриан, — весело, но с изысканной вежливостью сказал молодой архитектор. — Вам не придется идти далеко. Тут поблизости есть вполне приличный ресторан. Обопритесь на мою руку... вот так... и пошли не торопясь. Скучно обедать одному. Я даже немножко рад, что вы поскользнулись.

Когда их усадили за хорошо сервированный столик и услужливый официант склонился к ним в вопросительной позе, Чендлер почувствовал блаженное состояние, какое испытывал всякий раз во время своих вылазок в светскую жизнь.

Ресторан этот был не так роскошен, как тот, дальше по Бродвею, который он облюбовал себе, но мало в чем уступал ему. За столиками сидели состоятельного вида посетители, оркестр играл хорошо и не мешал приятной беседе, а кухня и обслуживание были вне всякой критики. Его спутница, несмотря на простенькое платье и дешевую шляпку, держалась с достоинством, что придавало особую прелесть природной красоте ее лица и фигуры. И по ее очаровательному личику видно было, что она смотрит на Чендлера, который был оживлен, но сдержан, смотрит в его веселые и честные синие глаза почти с восхищением.

И вот тут в Тауэrsa Чендлера вселилось безумие Манхэттена, бешенство суеты и тщеславия, бацилла хвастовства, чума дешевенького позерства. Он — на Бродвее, всюду блеск и шик, и зрителей полным-полно. Он почувствовал себя на сцене и решил в комедии-однодневке сыграть роль богатого светского повесы и гурмана. Его костюм соответствовал роли, и никакие ангелы-хранители не могли помешать ему исполнить ее.

И он пошел врать мисс Мэриан о клубах и банкетах, гольфе и верховой езде, псарнях и котильонах и поездках за границу и даже намекнул на яхту, которая стоит будто бы у него в Ларчмонте. Заметив, что его болтовня производит на девушку впечатление, он поддал жару, наплел ей что-то о миллионах и упомянул запросто несколько фамилий, которые обыватель произносит с почтительным вздохом. Этот час принадлежал ему, и он выжимал из него все, что, по его мнению, было самым лучшим. И все же раз или два сквозь туман самомнения, заставший ему глаза, перед ним засияло чистое золото ее сердца.

— Образ жизни, о котором вы говорите, — сказала она, — кажется

мне таким пустым и бесцельным. Неужели в целом свете вы не можете найти для себя работы, которая заинтересовала бы вас?

— Работа?! — воскликнул он. — Дорогая моя мисс Мэриан! Попытайтесь представить себе, что вам каждый день надо переодеваться к обеду, делать в день по десяти визитов, а на каждом углу полицейские только и ждут, чтобы прыгнуть к вам в машину и потащить вас в участок, если вы чуточку превысите скорость ослиного шага! Мы, бездельники, и есть самые работающие люди на земле.

Обед был окончен, официант щедро вознагражден, они вышли из ресторана и дошли до того угла, где состоялось их знакомство. Мисс Мэриан шла теперь совсем хорошо, только самую малость прихрамывая.

— Благодарю вас за приятно проведенный вечер, — искренне проговорила она. — Ну, мне надо бежать домой. Обед мне очень понравился, мистер Чендлер.

Сердечно улыбаясь, он пожал ей руку и сказал что-то насчет своего клуба и партии в бридж. С минуту он смотрел, как она быстро шла в восточном направлении, затем кликнул кеб и не спеша покатыл домой.

У себя, в сырой комнатухе, он сложил свой выходной костюм, предоставив ему отлеживаться шестьдесят девять дней. Потом сел и задумался.

— Вот это девушка! — проговорил он вслух. — А что она порядочная, головой ручаюсь, хоть ей и приходится работать из-за куска хлеба. Как знать, не нагородил я всей этой идиотской чепухи, а скажи ей правду, мы могли бы... А, черт бы все побрал! Костюм обязывал.

Так рассуждал дикарь наших дней, рожденный и воспитанный в вигвамах племени манхэттенцев.

Расставшись со своим кавалером, девушка быстро пошла прямо на восток и, пройдя два квартала, поравнялась с красивым большим особняком, выходящим на авеню, которая является главной магистралью Маммоны и вспомогательного отряда богов. Она поспешно вошла в дом и поднялась в комнату, где красивая молодая девушка в изящном домашнем платье беспокойно смотрела в окно.

— Ах ты, сорвиголова! — воскликнула она, увидев младшую сестру. — Когда ты перестанешь пугать нас своими выходками? Вот уже два часа, как ты убежала в этих лохмотьях и в шляпке Мари. Мама страшно встревожена. Она послала Луи искать тебя на машине по всему городу. Скверная ты, глупая девчонка!

Она нажала кнопку, и в ту же минуту вошла горничная.

— Мари, скажите маме, что мисс Мэриан вернулась.



— Не ворчи, сестричка. Я бегала к мадам Тео, надо было сказать, чтобы она вместо розовой прошивки поставила лиловую. А это платье и шляпка Мари очень мнегодились. Все меня принимали за продавщицу из магазина.

— Обед уже кончился, милая, ты опоздала.

— Я знаю. Понимаешь, я поскользнулась на тротуаре и подвернула ногу. Нельзя было ступить на нее. Больно было ужасно, я доковыляла до какого-то ресторана и сидела там, пока мне не стало лучше. Потому я и задержалась.

Девушки, сидели у окна и смотрели на яркие фонари и поток мелькающих экипажей. Младшая сестра прикорнула возле старшей, положив голову ей на колени.

— Когда-нибудь мы выйдем замуж, — мечтательно проговорила она, — и ты выйдешь и я. Денег у нас так много, что нам не позволят обмануть ожидания публики. Хочешь, сестрица, я скажу тебе, какого человека я могла бы полюбить?

— Ну, говори, болтушка, — улыбнулась старшая сестра.

— Я хочу, чтобы у моего любимого были ласковые синие глаза, чтобы он честно и почтительно относился к бедным девушкам, чтобы он был красив и добр и не превращал любовь в забаву. Но я смогу полюбить его, только если у него будет ясное стремление, цель в жизни, полезная работа. Пусть он будет самым последним бедняком, я не посмотрю на это, я все сделаю, чтобы помочь ему добиться своего. Но, сестрица, милая, нас окружают люди праздные, бездельники, вся жизнь которых проходит между гостиной и клубом, — а такого человека я не смогу полюбить, даже если у него синие глаза и он почтительно относится к бедным девушкам, с которыми знакомится на улице.

# Курьер

*Перевод Л. Каневского.*

Был не сезон, да и время такое, когда в парке обычно не бывает много народа, и, скорее всего, девушка, сидевшая на одной из скамеек у дорожки, повиновалась внезапному желанию присесть, чтобы отдохнуть и насладиться запахом наступающей весны. Она сидела в задумчивости, не шевелясь, словно замерла. Печаль на ее лице, вероятно, появилась совсем недавно, ибо она еще не успела испортить прекрасных юных очертаний ее щечек, расслабить пока еще твердый изгиб ее свежих губ.

По дорожке, где она сидела, энергично шагал какой-то высокий молодой человек. За ним тащился мальчик с чемоданом в руках. Когда он увидел молодую леди, его бледное лицо густо покраснело, а потом вернуло себе прежний цвет. Он подходил все ближе, не отрывая взгляда от ее лица, и надежда его смешивалась с тревогой. Он прошел мимо всего в нескольких ярдах от нее, но она ничем не показала, что с ним знакома или ей известно о его существовании.

Пройдя еще ярдов пятьдесят, он вдруг остановился и сел на край скамьи. Мальчишка, бросив на землю чемодан, уставился на него удивленными пронизательными глазами.

Молодой человек вытащил из кармана носовой платок, вытер пот со лба. У него в руках был красивый платок, у него был красивый лоб, да и вообще он был человеком пригожим, любо-дорого посмотреть. Он сказал мальчику:

— Сейчас передашь кое-что от меня вон той девушке на скамейке. Скажешь ей, что я иду на железнодорожный вокзал, чтобы выехать в Сан-Франциско, там я присоединюсь к экспедиции, которая отправляется на Аляску охотиться на американских лосей. Еще скажи ей, что, так как она запретила мне говорить с ней и писать ей, я прибегаю к этому последнему способу воззвать к ее совести, к чувству справедливости, ради того, что было между нами. Передай ей, что отказываться от человека, осуждать того, кто отнюдь не заслужил подобного обращения, не указывая на побудившие ее к этому причины, не давая ему возможности вместе с ней выяснить, — противоречит самой ее природе, а она-то мне хорошо известна. Скажи ей, что я в определенной мере на самом деле не подчинился ее распоряжениям, надеясь на ее снисходительность, на ее

желание установить справедливость. Ну, ступай и выложи ей все, что я тебе сказал.

Молодой человек вложил в ладошку мальчика монету в полдоллара. Тот посмотрел на него, его хитрые глазки вспыхнули на замызганном умном лице, и он, сорвавшись с места, быстро побежал к скамейке.

Он подходил к молодой леди, явно испытывая какие-то сомнения, но совершенно не был смущен. Он дотронулся до полей своей старой велосипедной шапочки из шотландки, съехавшей ему на затылок.

Девушка холодно посмотрела на него, — без всякого предубеждения, но и без особого расположения.

— Леди, — сказал он, — тот парень на другой скамье послал меня к вам с приветом и с песнью. Если вы не знаете этого парня и он таким образом пытается к вам приставать, то через три минуты я приведу сюда копа. Если же вы его знаете и он ничего непристойного не замышляет, то я передаю вам от него пучок теплого весеннего аромата.

Молодая леди проявила к гонцу слабый интерес.

— С приветом и песнью! — сказала она нарочито сладким голосом, который придавал ее словам мелодическую, почти неощутимую иронию. — Что-то новенькое из репертуара трубадуров, как мне кажется. Я в самом деле когда-то знала того джентльмена, который послал тебя ко мне, и думаю, что нет никакой необходимости вызывать полицию. Если ты действительно намерен передать мне стихотворный привет и станцевать вдобавок, то прошу тебя, начинай, только потише! Еще слишком рано для водевиля на открытом воздухе, и мы с тобой можем привлечь к себе внимание прохожих.

— Да что вы, — сказал мальчик, содрогнувшись всем своим маленьким телом. — Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду, леди. Все это так, для образа. Он просил меня передать вам, что отложные воротнички и манжеты уложены вон в тот чемодан, и он собирается слинять в Сан-Франциско. После этого он намерен пострелять зимних юнко на Клондайке. Он сказал, что вы приказали ему больше не слать вам его розовых записочек и не слоняться у входа в парк, и он надеется, что вы проявите мудрость и передумаете. Он сказал, что вы его списали, так и не дав ему никакой возможности опровергнуть принятое вами решение. Он говорит, что вы дали ему пинка, но он так и не знает почему.

Пробудившийся в молодой леди интерес к словам мальчика не угасал. Может, он поддерживался либо оригинальностью, либо отвагой охотника на зимних юнко и его ловким обходом ее категорических приказов, для чего он отказался от обычных способов связи. Она уставилась на статую, с

безутешным видом стоявшую в этом заброшенном неухоженном парке, и заговорила, словно через громкоговоритель:

— Передайте этому джентльмену, что я не собираюсь вновь и вновь рассказывать ему о моих идеалах. Он отлично знает, каковы они были, и они таковыми неизменно остаются. В том, что касается нынешнего случая, то важнейшее значение имеют верность и истина. Скажи ему, что я хорошо изучила собственное сердце, лучше никто не сумеет, и теперь знаю как его слабости, так и его нужды. Вот почему я отказываюсь внимать его мольбам, какими бы они ни были. Я ведь осуждаю его не на основании сплетен или весьма сомнительных доказательств, — поэтому я и не выдвигаю никакого обвинения. Но если ему угодно настаивать и слышать то, что он уже не раз прежде слышал, то пусть послушает от тебя еще раз.

Скажи ему, что я вошла в тот вечер в консерваторию с черного хода и там в цветнике срезала розу для матери. Скажи ему, что я видела его с мисс Эшбертон под розовым олеандровым кустом. Такая прекрасная картина! Их позы и положение были слишком красноречивыми и очевидными и не требовали никаких догадок. Я покинула консерваторию, бросив там розу и оставив за спиной свой идеал. А теперь можешь передать стихотворный привет своему импресарио и, если охота, поплясать перед ним.

— Что-то не пойму одного слова, леди. Поло... положение, не растолкуете ли мне, что это означает?

— Соприкосновение или, если тебе угодно, близость — это нахождение кого-то от кого-то слишком близко, чтоб сохранить позицию идеала.

Гравий заскрипел под быстрыми ногами мальчишки. Теперь он стоял возле другой скамьи. Взгляд мужчины жадно устремился к нему. А в глазах мальчишки загорелся огонек усердия из-за его новой роли — роли переводчика.

— Леди сказала, что, может, есть девушки, которые принимают всерьез мужчину, который рассказывает им истории о привидениях, чтобы оправдать себя, но она из тех, кто не желает выслушивать все это «мыло». Она говорит, что застала вас на месте преступления, когда вы собирали цветочки с цветастого ситцевого женского платья, и когда она вошла, чтобы срезать для себя несколько цветков, вы уже в довершение всего зажимали девушку. Она говорит, что со стороны это смотрелось здорово, честь честью, но от этой картины ее стошнило. Она говорит, что вам лучше заняться своими делами и поспешить на поезд.

Молодой человек присвистнул, а глаза его вспыхнули, в голове пронеслась какая-то мысль. Из внутреннего кармана сюртука он вытащил

пачку писем. Выбрав из них одно, он передал его мальчику, сопровождая свой жест еще одной полудолларовой монетой, извлеченной из своего жилета.

— Передай-ка вот это письмишко молодой леди, — сказал он, — пусть прочитает. Скажи ей, что я хотел бы ей объяснить сложившуюся ситуацию. Скажи ей, что если бы она свое представление об идеале одобрила бы определенным доверием, то можно было бы избежать многих сердечных мук. Передай ей, что верность, которую она так высоко ценит, осталась непоколебимой. Скажи ей, что я жду ответа.

Гонец вновь стоял перед леди.

— Парень говорит, что вы напрасно вешаете на него собак, он этого не заслужил, что он совсем не никчемный мужик, и если вы прочитаете вот это письмо, то поймете, что он парень что надо!

С весьма сомневающимся видом молодая леди развернула письмо и стала читать:

«Дорогой доктор Арнольд, я хочу поблагодарить вас за вашу добрую и очень своевременную помощь, которую вы оказали моей дочери в пятницу вечером, когда у нее произошел острый приступ ее старой болезни сердца в консерватории, на приеме у миссис Уолдрон. Если бы вы не оказались рядом с ней и не подхватили ее на руки, то мы бы ее наверняка потеряли. Буду очень рада, если вы посетите нас и возьмете на себя ее лечение.

С благодарностью

*Роберт Эшбертон».*

Молодая леди, свернув письмо, вернула его мальчику.

— Но парень ждет ответа, — сказал гонец. — Ну, что передать?

Ее ясные, повлажневшие глаза вспыхнули, и она, улыбнувшись, сказала:

— Передай этому парню, что девушка на другой скамейке хочет с ним поговорить...

## Меблированная комната

*Перевод М. Лорие.*

Беспокойны, непоседливы, преходящи, как само время, люди, населяющие краснокирпичные кварталы нижнего Вест-Сайда. Они бездомны, но у них сотни домов. Они перепархивают из одной меблированной комнаты в другую, не заживаясь нигде, не привязываясь ни к одному из своих убежищ, непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют «Родина, милая родина» в ритме рэгтайма, своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвивается вокруг соломенной шляпки; смоковницей им служит фикус.

Дома этого района, перевидавшие тысячи постояльцев, могли бы, вероятно, рассказать тысячи историй, по большей части скучных, конечно; но было бы странно, если бы после всех этих бродячих жильцов в домах не осталось ни одного привидения.

Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домов-развалин блуждал какой-то молодой человек и звонил у каждой двери. У двенадцатой двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и вытер пыль со лба и шляпы. Звонок прозвучал еле слышно, где-то далеко, в недрах дома.

В дверях этого двенадцатого по счету дома появилась хозяйка, похожая на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха и теперь заманивает в пустую скорлупу съедобных постояльцев.

Он спросил, есть ли свободные комнаты.

— Войдите, — сказала хозяйка. Голос шел у нее из горла, словно подбитого мехом. — Есть комната на третьем этаже, окнами во двор, уже неделю стоит пустая. Хотите посмотреть?

Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. Тусклый свет из какого-то невидимого источника скрадывал тени в коридорах. Хозяйка и гость бесшумно шли по устилавшему лестницу ковру, такому древнему, что от него отрекся бы даже станок, на котором его ткали. Он теперь принадлежал, скорее, к растительному царству; выродился в этом затхлом, лишенном солнца воздухе в буйный лишайник или пышный мох, который пучками прирос к ступенькам и прилипал к подошвам, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы в стене была пустая ниша. Здесь, возможно, стояли когда-то цветы. Если так,

цветы, должно быть, погибли в этом нечистом, зловонном воздухе. Возможно также, что когда-нибудь в этих нишах помешались статуи святых, но легко было представить себе, что черти с чертенятами, выбрав ночь потемнее, выволокли их оттуда и ввергли в нечестивую глубь какой-нибудь меблированной преисподней.

— Вот комната, — раздалось из мехового горла хозяйки. — Хорошая комната. Она редко пустует. Прошное лето у меня в ней жили прекрасные постояльцы — никаких неприятностей, и платили вперед, точно в срок. Кран в конце коридора. Три месяца ее снимали Спраулз и Муни. Актеры, играли скетчи. Мисс Брэтта Спраулз, может, слышали... Нет, нет, она только выступала под этой фамилией, брачное свидетельство висело вон там, над комодом, в рамке. Газ вот тут, стенные шкафы, как видите, есть. Такая комната кому не понравится. Она никогда не пустует подолгу.

— И часто актеры снимают у вас комнаты? — спросил молодой человек.

— Всяко бывает. Многие из моих постояльцев работают в театре. Да, сэр, в этом районе много театров. Актеры, они, знаете, нигде подолгу не живут. Бывает, что и у меня поселятся, всяко бывает.

Он сказал, что комната ему подходит и что он устал и никуда сегодня не пойдет. Он отдал деньги вперед за неделю. Комната прибрана, сказала хозяйка, даже вода и полотенце приготовлены. Когда она собралась уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который вертелся у него на языке:

— Вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку — мисс Вешнер, мисс Элоизу Вешнер? Скорее всего, она поет на сцене. Красивая девушка, среднего роста, стройная, волосы рыжевато-золотистые и на левом виске темная родинка.

— Нет, такой фамилии не помню. Эти актеры меняют имена так же часто, как комнаты. Нынче они здесь, завтра уехали, всяко бывает. Нет, такой что-то не припомню.

Нет. Вечное нет. Пять месяцев беспрестанных поисков, и все напрасно. Сколько времени потрачено, днем — на расспрашивание антрепренеров, агентов, театральных школ и эстрадных хоров; по вечерам — в театрах, от самых серьезных до мюзик-холлов такого низкого пошиба, что он боялся найти там то, на что больше всего надеялся. Он любил ее сильнее всех и давно искал ее. Он был уверен, что после ее исчезновения из дому этот большой, опоясанный водою город прячет её где-то, но город — как необъятное пространство зыбучего песка, те песчинки, что вчера еще были на виду, завтра затянет илом и тиной.

Меблированная комната встретила своего нового постояльца слабой вспышкой притворного гостеприимства, лихорадочным, вымученным, безучастным приветствием, похожим на лживую улыбку продажной красоти. Отраженный свет сомнительного комфорта исходил от ветхой мебели, от оборванной парчовой обивки дивана и двух стульев, от узкого дешевого зеркала в простенке между окнами, от золоченых рам на стенах и никелированной кровати в углу.

Новый жилец неподвижно сидел на стуле, а комната, путаясь в наречиях, словно она была одним из этажей Вавилонской башни, пыталась поведать ему о своих разношерстных обитателях.

Пестрый коврик, словно ярко расцвеченный прямоугольный тропический островок, окружало бурное море истоптанных циновок. На оклеенных серыми обоями стенах висели картины, которые по пятам преследуют всех бездомных, — «Любовь гугенота», «Первая ссора», «Свадебный завтрак», «Психея у фонтана». Целомудренно-строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой, лихо натянутой наискось, как шарф у балерины в танце амазонок. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные робинзонами в этой комнате, когда парус удачи унес их в новый порт, — грошовые вазочки, портреты актрис, пузырек от лекарства, разрозненная колода карт.

Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными еле заметные следы, оставленные постояльцами меблированной комнаты. Вытертый кусок ковра перед комодом рассказал, что среди них были красивые женщины. Крошечные отпечатки пальцев на обоях говорили о маленьких пленниках, пытавшихся найти дорогу к солнцу и воздуху. Неправильной формы пятно на стене, окруженное лучами, словно тень взорвавшейся бомбы, отмечало место, где разлетелся вдребезги полный стакан или бутылка. На зеркале кто-то криво нацарапал алмазом имя «Мари». Казалось, жильцы один за другим приходили в ярость, — может быть, выведенные из себя вопиющим равнодушием комнаты, — и срывали на ней свою злость. Мебель была изрезанная, обшарпанная; диван с торчащими пружинами казался отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге. Во время каких-то серьезных беспорядков от каминной доски откололся большой кусок мрамора. Каждая половица бормотала и скрипела по-своему, словно жалуясь на личное, ей одной известное горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы временно называли ее своей, а впрочем, возможно, что ярость их распалил обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла,



мстительное озлобление против вероломных домашних богов. Самую убогую хижину, если только она наша, мы будем держать в чистоте, украшать и беречь.

Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать на бесшумных подошвах по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались меблированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий, прерывистый смех; из других — монолог разъяренной мегеры, стук игральные костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливалось банджо. Где-то хлопали двери; то и дело гроыхали мимо поезда надземки; во дворе на заборе жалобно мяукала кошка. И он вдыхал дыхание дома — скорее, даже не запах, а промозглый вкус — холодные влажные испарения, словно из погреба, смешанные с зловонием линолеума и трухлявого, гниющего дерева.

И вдруг, пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный, сладкий запах резеды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым. И молодой человек крикнул: «Что, милая?» — словно его позвали, вскочил со стула и огляделся. Густой запах льнул к нему, обволакивал его. Он протянул руки, чтобы схватить его, все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до него, погладил по руке?

— Она была здесь! — крикнул он и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что узнает каждую мелочь, которая принадлежала ей или которой она касалась. Этот всепроникающий запах резеды, аромат, который она любила, ее аромат, откуда он?

Комната была прибрана не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось несколько шпилек — этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины: женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Их он не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. Роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка нагло и назойливо пахло гелиотропом; он швырнул его на пол. В другом ящике ему попало несколько пуговиц, театральная программа, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он увидел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант — тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины и ничего не может рассказать.

И тут он, как ищейка, пошел по следу: оглядывал стены, становился на

четвереньки, чтобы ощупать утлы бугристой циновки, обшарил столы и камин, портьеры и занавески и пьяный шкафчик в углу, в поисках видимого знака, еще не веря, что она здесь, рядом, вокруг, в нем, над ним, льнет к нему, ластится, так мучительно взывает к его сознанию, что даже его чувства восприняли этот зов. Раз он опять ответил вслух: «Да, милая!» — и обернулся, но его широко раскрытые глаза увидели пустоту, потому что он не мог еще различить в запахе резеды очертаний, и красок, и любви, и протянутых рук. О боже! Откуда этот запах, и давно ли у запахов есть голос? И он продолжал искать.

Он копался в углах и щелях и находил пробки и папиросы. Их он пренебрежительно отшвыривал. Но под циновкой ему попался окуроч сигары, и он, выругавшись злобно и грубо, раздавил его каблуком. Он просеял всю комнату как сквозь сито. Он прочел печальные и позорные строки о многих бродячих жильцах, но не нашел ни следа той, которую искал, которая, может быть, жила здесь, чей дух, казалось, витал в этой комнате.

Тогда он вспомнил о хозяйке.

Из населенной призраками комнаты он сбежал по лестнице вниз к двери, из-под которой виднелась полоска света. Хозяйка вышла на его стук.

Он, насколько мог, подавил свое возбуждение.

— Скажите мне, пожалуйста, — умолял он ее, — кто жил в моей комнате до меня?

— Хорошо, сэр. Могу рассказать еще раз. Спраулз и Муни, как я вам говорила. Мисс Брэгга Спраулз, это по сцене, а на самом деле миссис Муни. У меня живут только порядочные люди, это всем известно. Брачное свидетельство висело в рамке, на гвозде, над...

— А что за женщина была эта мисс Спраулз, какая она была с виду?

— Да как вам сказать, сэр, брюнетка, маленького роста, полная, лицо веселое. Они съехали в прошлый вторник.

— А до них?

— А до них был одинокий джентльмен, работал по извозной части. Уехал и задолжал мне за неделю. До него была миссис Краудер с двумя детьми, жила четыре месяца, еще до них был старый мистер Дойл, за того платили сыновья. Он занимал комнату шесть месяцев. Вот вам целый год, сэр, а раньше я и не припомню.

Он поблагодарил ее и поплелся назад в свою комнату. Комната умерла. Того, что вдохнуло в нее жизнь, больше не было. Аромат резеды исчез. Как прежде, пахло погребом и отсыревшей мебелью.

Взлет надежды отнял у него последние силы. Он сидел, тупо

уоставившись на желтый, шипящий газовый рожок. Потом подошел к кровати и стал раздирать простыни на полосы. Перочинным ножом он крепко законопатил ими дверь и окна. Когда все было готово, он потушил свет, открыл газ и благодарно растянулся на постели.

В этот вечер была очередь миссис Мак-Куль идти за пивом. Она и сходила за ним и теперь сидела с миссис Пурди в одном из тех подземелий, где собираются квартирные хозяйки и где червь если и умирает, то редко [35].

— Сдала я сегодня мою комнату на третьем этаже, ту, что окнами во двор, — сказала миссис Пурди поверх целой шапки пены. — Снял какой-то молодой человек. Он уже два часа как лег спать.

— Да что вы, миссис Пурди, неужто сдали? — сказала миссис Мак-Куль, сопя от восхищения. — Прямо чудо, как вы умеете сдавать такие комнаты. И как же вы, сказали ему или нет? — закончила она хриплым, таинственным шепотом.

— Меблированные комнаты, — сказала миссис Пурди на самых своих меховых нотах, — для того и существуют, чтобы их сдавать. Я ему ничего не сказала, миссис Мак-Куль.

— И правильно сделали, миссис Пурди: чем же нам и жить, как не сдачей комнат. Вы, прямо скажу, деловая женщина. Ведь есть которые нипочем не снимут комнату, скажи им только, что в ней человек покончил с собой, да еще на кровати.

— Ваша правда, жить всем нужно, — заметила миссис Пурди.

— Нужно, миссис Пурди, ох как нужно! Сегодня как раз неделя, что я вам помогала обмывать покойницу. А хорошенькая была какая, и чего ей понадобилось травить себя газом, — личико такое милое у нее было, миссис Пурди.

— Пожалуй, что и хорошенькая, — сказала миссис Пурди, соглашаясь, но не без критики, — только вот родинка эта на левом виске ее портила. Наливайте себе еще, миссис Мак-Куль.

# Недолгий триумф Тильди

*Перевод под ред. М. Лорие.*

Если Вы не знаете «Закусочной и семейного ресторана» Богля, вы много потеряли. Потому что если вы — один из тех счастливцев, которым по карману дорогие обеды, вам должно быть интересно узнать, как уничтожает съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счет, поданный лакеем, — событие, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам причитается (по крайней мере, по количеству).

Ресторан Богля расположен на проспекте Средней буржуазии — на бульваре Брауна-Джонса-Робинсона — на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из перечницы вы можете вытрясти облачко чего-то меланхоличного и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплется ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, изготавливаемый «по рецепту одного индийского раджи».

За кассой сидит Богль, холодный, суровый, медлительный, грозный, и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накалывает ваш счет, отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет — ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы — не знакомый Богля; вы случайный, кормящийся у него посетитель; вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призовет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.

Посетителей Богля обслуживали две официантки и Голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богля считались такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук.

Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно: Тильди, Тильди. Тильди была маленькая, толстенькая, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем

угодить, чтобы всем угодить. Перечитайте последнюю фразу раза три, и вы увидите, что в ней есть смысл.

Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный Голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.

Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива? Если бы она надела двухсотдолларовое платье, и прошлась бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это.

Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина — а женщины заглядывали к Бogleю редко — старался произвести на нее впечатление.

Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежащем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье.

Если даже случайные посетители бывали очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось с завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собой. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере, два раза в неделю кто-нибудь водил ее в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой «Боровом», подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку «Нахал» и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возчик получит подряд на Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на «Парсифаля».

— Я не знаю, где это «Парсифаль» и сколько туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет?

А Тильди...

В пропитанном парами, болтовней и запахом капусты заведении Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с ее носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом, никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану, — разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она, видно, поздненько пришла вчера домой, что так медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный, далекий «Парсифаль».

Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим, медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота ее превратила их яичницу с ветчиной в амброзию.

И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Нос пуговкой питал верноподданнические чувства к короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных. Но глубоко под веснушчатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних.

Однажды утром Эйлин пришла на работу с подбитым глазом, и Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому.

— Нахал какой-то, — объяснила Эйлин. — Вчера вечером, когда я возвращалась домой. Пристал ко мне на Двадцать третьей. Лезет, да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но оказалось, что он все время шел за мной. На Восемнадцатой он опять начал приставать. Я как размахнулась да как ахну его по щеке! Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, Тиль, у меня ужасный вид? Мне так неприятно, что мистер Никольсон увидит, когда придет в десять часов пить чай с гренками.

Тильди слушала, и сердце у нее замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом!

Среди посетителей Богля был молодой человек по имени Сидерс,

работавший в прачечной. Мистер Сидерс был худ и белобрыс, и казалось, что его только что подсушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин; поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и вареную рыбу.

Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покончив с вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов.



Несколько секунд Тильди стояла окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит:

— Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже! Этак ты отобьешь у меня всех моих поклонников. Придется мне следить за тобой, моя милая.

И еще одна мысль забрезжила в сознании Тильди. В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь Цирцеей, целью для стрел Купидона, сабинянкой, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидерс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сняв грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего батиста — облачения, достойного самой Венеры.

Веснушки Тильди потонули в огне румянца. Цирцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах.

Тильди была не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли; она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня, — сказала она. — Он обхватил меня за талию и поцеловал.

— Вот как, — сказал Бogle, приподняв забрало своей деловитости. — С будущей недели будете получать на доллар больше.

Во время обеда Тильди, подавая знакомым посетителям, Объявляла каждому из них со скромностью человека, достоинства которого не нуждаются в преувеличении:

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал.

Обедающие принимали эту новость по-разному — одни выражали недоверие; другие поздравляли ее; третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья — наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, показались башни романтики.

Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепилась на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже.



Ей становилось и страшно и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета. И Тильди решила, что лучше ему не стрелять; она ведь всегда была верным другом Эйлин и не хотела затмить ее славу.

На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел. За столиками не было ни души. В глубине ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам.

Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант; на шее — эмблема Венеры с Восьмой авеню — ожерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком.

Мистер Сидерс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой.

— Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян.

Выразив столь деликатно свое раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена.

Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол, среди кусочков масла и кофейных чашек, и плакала навзрыд — плакала и возвращалась на однообразную серую равнину, по которой блуждают такие, как она, — с носом-пуговкой и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала; она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна и привел в движение уснувшие часы и заставил суетиться сонных пажей. Но поцелуй был пьяный и неумышленный; сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу; ей суждено навеки остаться спящей красавицей.

Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарилась по столу среди объедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга.

— Не огорчайся, Тиль, — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. — Не стоит того этот Сидерс. Не джентльмен, а белобрысая защипка для белья, вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы

просить извинения?

## Примечания к сборнику

В первом издании сборника было краткое предисловие О. Генри: «Не так давно один выдумщик заявил, что в Нью-Йорке имеется не более четырехсот человек, достойных внимания. Но отыскался другой человек — он занимается переписью населения в Нью-Йорке, — и его более мудрый подсчет помог нам найти название для этого сборника: „Четыре миллиона“».

Четыреста человек, против исключительного внимания к которым протестует О. Генри, — это нью-йоркские миллионеры; американская пресса в 1900-х годах так и именовала их: «Четыреста».

**Линии судьбы** (Tobin's Palm), 1903. На русском языке под названием «Ладонь Тобины» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Дары волхвов** (The Gift of the Magi), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы Пг.-М., 1923. Название рассказа связано с евангельским сказанием о дарах, принесенных волхвами новорожденному младенцу — Христу.

**Космополит в кафе** (A Cosmopolite in a Cafe), 1905. На русском языке публикуется впервые.

**В антракте** (Between Rounds), 1905. На русском языке под названием «Между кругами» в книге: О. Генри. Шуми-городок над подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**На чердаке** (A Skylight Room), 1905. На русском языке под названием «Комната с фонарем» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского.

**Из любви к искусству** (A Service of Love), 1905. На русском языке под названием «Если любишь» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского.

**Дебют Мэгги** (The Coming-Out of Maggie), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Прожигатель жизни** (Man About Town), 1905. На русском языке публикуется впервые.

**Фараон и хорал** (The Cop and the Anthem), 1904. На русском языке под названием «Полицейский и антифон» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Гармония в природе** (An Adjustment of Nature), 1905. На русском языке под названием «Приспособляемость природы» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.—Л., 1924, пер. В. Александрова.

**Воспоминания желтого пса** (Memoirs of a Yellow Dog), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Приворотное зелье Айки Шонштейна** (The Love-Philtre of Ikey Schoenstein), 1904. На русском языке под названием «Любовный напиток Айки Шонштейна» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Золото и любовь** (Mammon and the Archer), 1905. На русском языке под названием «Амур и Маммона» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Весна порционно** (Springtime a la Carte), 1905. На русском языке под названием «Одуванчики» в книге: О. Генри. Рассказы. П.-М., 1923, пер. Л. Гаусман. С этим рассказом связана одна из многочисленных литературных легенд об О. Генри. Ирвин Кобб, американский писатель, вспоминает, как, сидя однажды с О. Генри в нью-йоркском кафе, спросил у него, где он находит свои сюжеты. «Да всюду, — ответил О. Генри, — желаете, вот вам сюжет». И, взяв в руки меню, импровизируя, он рассказал Коббу будущую «Весну порционно».

**Зеленая дверь** (The Green Door), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**С высоты козел** (From the Cabby's Seat), 1904. На русском языке под названием «С точки зрения козел» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

**Неоконченный рассказ** (An Unfinished Story), 1905. На русском языке под названием «Рождественский рассказ» в книге: О. Генри. Марионетки. Л., (1924), пер. Э. Бродерсон. Дэлси из этого рассказа О. Генри — известнейшая из его нью-йоркских продавщиц. Она — действующее лицо в советском фильме о жизни и творчестве О. Генри «Великий утешитель».

**Калиф, купидон и часы** (The Caliph, Cupid and the Clock), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

**Орден золотого колечка** (Sisters of the Golden Circle), 1905. На русском языке под названием «Сестры золотого круга» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

**Роман биржевого маклера** (The Romance of a Busy Broker), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман.

**Через двадцать лет** (After Twenty Years), 1904. На русском языке под названием «Спустя двадцать лет» в журнале «Огонек». 1924, № 27, пер. З. Львовского.

**Мишурный блеск** (Lost on Dress Parade), 1905. На русском языке под названием «Жертва тщеславия» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. С. Маршака.

**Курьер** (By Courier), 1906. На русском языке публикуется впервые.

**Меблированная комната** (The Furnished Room), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман. Один из немногих безысходно-сумрачных рассказов О. Генри.

**Недолгий триумф Тильди** (The Brief Debut of Tildy), 1904. На русском языке под названием «Улыбка счастья» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

---

notes
-------

## Примечания

**1**

Графство на северо-востоке Ирландии.

Улонг — сорт китайского чая.



Щеголь, денди — от имени знаменитого законодателя мод Джорджа Бруммея (1778–1840), англичанина, друга Георга IV.

**4**

Сорт дорогих сигар.

Тэмени-хол — штаб демократической партии в Нью-Йорке.

День Благодарения (последний четверг ноября) — американский праздник, введённый ранними колонистами Новой Англии в ознаменование первого урожая, собранного в Новом Свете.

Гендрик Гудзон — английский мореплаватель, открывший в начале XVII в. названную его именем реку, в устье которой был позже основан Нью-Йорк.

Отвесные скалы на западном берегу Гудзона.

Живописная горная долина с водопадами, национальный парк в Калифорнии.

Медаль за героический поступок, учрежденная миллионером-филантропом Карнеги.



Морган, Джон Пирпонт (1837–1913) — потомственный миллионер, коллекционировал картины.

Прозвище жителей штата Висконсин.

Горный перевал в Скалистых горах на Аляске.

Горная цепь на западе Аляски.

Боадигея — королева Британии I века нашей эры.

Шотландский гимн: «Вот идут Кемпбелли».

Замороженным, ледышкой (*фр.*).

Слабительное из столетника (*лат.*).



Валериана на нашатырном спирте (*лат.*).

Бензойная смола, росный ладан.

Локинвар — герой баллады из поэмы Вальтера Скотта «Мармион», умчавший свою возлюбленную на коне в день её венчания с соперником.

«Пусть устрицей мне будет этот мир.  
Его мечом я вскрою!»

*(Слова Пистоля, персонажа из «Виндзорских  
насмешниц» Шекспира.*

*Перевод С. Маршака и М. Морозова.)*

Закуски (фр.).

В день (лат.).

Нежно затихая (*ит.*).

При Мукдене происходили военные действия во время русско-японской войны 1904–1905 гг.



«Монастырь и очаг» — исторический роман английского писателя Чарльза Рида (1814–1884).

Либби Лора Джин (1862–1924) — американская писательница, автор популярных в своё время сентиментальных романов.

О небо! (нем.).

Строка из стихотворения «Бедный Джек» английского поэта Чарлза Дибдина (1745–1814), известного своими морскими песнями.

Под открытым небом (*исп.*).

Одежда протестантских священников.

Вандербилт, Рассел Сейдж — американские миллионеры, чьи особняки расположены на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Маленькая церковь за углом — церковь Преображения близ Пятой авеню в деловой части Нью-Йорка.



Намёк на евангельское: «Где червь их не умирает и огонь не погасает», то есть в аду, в «геенне огненной».